

ПОЭТЫ - СОВРЕМЕННОСТИ

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ





Давид Самойлов родился в 1920 году, в Москве, в семье врача. Студентом ИФЛИ он ушел на фронт, был ранен, награжден. После Великой Отечественной войны окончил Московский университет. Стихи Д. Самойлов писал давно, но поэтом стал, пройдя суровую школу войны. Для него, как и для всех лучших представителей советской литературы, „война была не ради славы, а ради жизни на земле“ (А. Твардовский).

В 1958 году поэт опубликовал первую книгу своих стихов „Ближние страны“, большинство строк которой согреты дыханием великого подвига советского народа, спасшего цивилизацию от фашизма.

Глубоко человеческая, ласковая к людям поэзия Д. Самойлова неотделима от его переводческой деятельности. Сохраняя все своеобразие своей творческой манеры, поэт умеет очень точно, тонко и любовно передать национальные и индивидуальные особенности стиха поэтов разных народов.



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,

М. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА

и Б. СЛУЦКОГО

ВЫПУСК 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ

С К О Г О

П Е Р Е В О Д А

ПОЭТЫ- СОВРЕМЕННОКИ

СТИХИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

В ПЕРЕВОДЕ

Д. САМОЙЛОВА

ЛИТЕРАТУРЫ, МОСКВА, 1963

И
С 80

ПРЕДИСЛОВИЕ П. АНТОКОЛЬСКОГО
РЕДАКТОР ВЫПУСКА Н. ЛЮБИМОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книжка открывает серию задуманных Издательством иностранной литературы сборников избранных работ мастеров поэтического перевода. Это начинание может и должно сыграть важную роль в развитии культуры поэтического перевода. Советскими поэтами-переводчиками накоплен немалый опыт, он требует пристального внимания, изучения, анализа. Между тем он еще не учтен должным образом. Творчество поэтов-переводчиков нигде не собрано, работы их разбросаны в отдельных изданиях, выходявших в разные годы, в разных местах. Далеко не все читатели заглядывают в оглавление, чтобы установить, кто именно перевел полюбившееся им произведение иноязычного поэта. В сущности точно так же поступают и многие критики, откликаясь на ту или другую переводную поэтическую книгу. Они игнорируют самый факт перевода, так что может сложиться впечатление, будто книга эта переведена на русский язык наитием святого духа, что за нею не стоит напряженный труд иногда целого коллектива одаренных писателей и этот труд из благородного превращается в сугубо неблагодарный. Вот почему очень многие писатели (даже писатели!) считают труд переводчика чем-то механическим, отрицают в нем

творческое начало, весьма пренебрежительно отзываясь о тех мастерах, которые увлеченно, добросовестно и талантливо отдают свои силы добровольно избранному делу.

Одним из способов исправить создавшееся положение является настоящая серия. Здесь вниманию читателей предлагается труд переводчика *как таковой*: в избранных самим поэтом образцах, в том лучшем, что сделал данный поэт-переводчик, в его наиболее заметных достижениях.

Уже не однажды было замечено, что работа переводчика родственна актерской, артистической работе. И в той и в другой неизбежна способность перевоплощения. Как актеру на сцене приходится сегодня быть Гамлетом, завтра Хлестаковым, а послезавтра Кречинским или Карлом Моором, точно так же и переводчику предстоит не только путешествовать из века в век, из одной страны в другую, но и сверх того увлеченно и с полной отдачей себя превращаться в каждого из облюбovaných им иноязычных авторов, ревностно служа его мысли и его образам, воплощая это чужое достояние на своем языке и своими живыми интонациями. Но при этом неизбежно толковать данного поэта *по-своему*! Ведь в задачу поэта-переводчика входит также стремление сделать чужое творчество достоянием нашей поэзии и нашей культуры, — иначе говоря, всеми доступными средствами *оживить* его на русском языке, дать ему вторую, новую жизнь.

Так сложен и на первый взгляд противоречив процесс переводческого перевоплощения. Но противоречие это кажущееся. В основе своей оно диалектично, как всякая творческая деятельность. Ибо, перевоплощаясь, поэт-переводчик тем самым делает чужой текст своим и только благодаря этому «усыновлению» делает его достоянием своих читателей.

Перед нами книжка избранных переводов русского поэта, Давида Самойлова, известного читателям его собственными ори-

гинальными стихами. Они обратили на себя внимание и благодаря отголоскам солдатского пути автора в годы Отечественной войны, и благодаря его своеобразному проникновению в русскую историю, в частности в эпоху Ивана Грозного. У Самойлова богатый словарь, он отлично владеет родным языком и стихом, у него изощренная ритмическая техника и завидная интонационная свобода в переводе чужой разговорной речи.

Эти немалые достоинства отлично служат Д. Самойлову в его переводческой работе. Он показал себя здесь *мастером перевоплощения*, иначе говоря — ответил главному требованию, которое следует предъявить к каждому переводчику. Поэт Самойлов, проникший в сложные и тонкие, противоречивые и страстные переживания чешского поэта Незвала, совершенно непохож на Самойлова, который смело передает язычески первозданную, наивную и мудрую патетику в реквиеме сенегальца Седара Сенгора. Эти два Самойлова — люди разных веков, разных геологических пластов человеческой культуры. И в этой же книге Самойлов перекликается с богатой ритмикой шевченковского хорея, когда перед ним новая задача: революционная, крестьянская быль двадцатых годов в поэме поляка Бруно Ясенского.

Таким образом в разнообразии внешних приемов и внешних средств перевоплощения заключен залог успеха в передаче чужого душевного мира и чужой культуры, сложившейся исторически. В этом одно из главных достоинств этой небольшой по объему и богатой содержанием книги. Да она и не могла быть иной, поскольку в ней соседствует материал разных поэтов, отделенных друг от друга и пространством и временем. Ведь каждый поэт — если он действительно поэт — это отдельный, замкнутый в себе мир, отдельный личный исторический и социальный опыт, отдельно, по-своему, пережитая культура, народная и мировая.

В то же время разнообразие материала этой книги не производит впечатления пестрой и неорганизованной разноголосицы. Книга не рассыпается на куски, на отдельные новеллы о Незвале, Тувиме, Броневском. Это не конгломерат, а слаженное единство.

Конечно, единству служит и не может не служить личность самого переводчика, достаточно самобытного и сильного поэта, чтобы не остаться «за кадром» перевода.

Но дело не только в этом.

Единство сборника обусловлено и выбором материала. В подавляющем большинстве в основном своем тоне это материал патетический: спор данного лирического героя (у каждого из поэтов свой лирический герой!) с временем, лейтмотив истории, переключка личной биографии и народной истории. Может быть, с наибольшей впечатляющей силой этот лейтмотив звучит в замечательной поэме Незвала «Эдисон»: принудительный гипноз незваловских перечислений передан в переводе Д. Самойлова с большой лирической силой. Он звучит как камертон для всей этой книги. Отсюда, из этой светящейся точки, книга воспринимается, как живое органическое целое, имя которому «Поэзия двадцатого века», нашего века.

И еще одна черта укрепляет сборник. Она относится к специфике дарования Д. Самойлова, к его идейной и эстетической устремленности. Он поэт и переводчик — реалист. За поэтическим текстом, за душевным обликом переводимого поэта Д. Самойлов пронизательно угадывает жизнь, среду, обстановку, общественные условия, создавшие тот или другой поэтический образ. Мне хочется определить это свойство Д. Самойлова как *высокий коэффициент в передаче жизни*, что, в сущности, является главным условием победы и удачи в нашем деле.

П. Антокольский

Из польских поэтов

Юлиан Тувим

1894—1953

НЕТУ КРАЯ

Нету края, где б не тосковалось
По улицам стародавним,
Где б на гром победный сердце отзывалось
Радостью, а не глухим страданьем.

Нету края, где бы замолчала
Память в час ночного бденья.
Всюду, всюду пред очами
У меня одно виденье.

Нету, нету мне нигде покою,
Увещаньям ничьим не внемлю.
Всюду вижу перед собою
Только родину — небо и землю.

Не помогут мне все дороги,
И ни толпы, и ни океаны.
Я молюсь на улицах, строгий,
Отрешенный и неустанный.

Не помочь мне самым дивным словом,
И ни гимном, и ни громом битвы.
Извечно будут, будут снова
Памятные старые молитвы.

Я молю, молю, заламываю руки!
Боже, выслушай мои простые речи!
Там, на улице, он ждет меня в разлуке
Мой знакомый, скромный человек.

РАССВЕТ

Где-то близко позвало, запела,
Там, подалее, — зарозовело,
Сам не знаю, что за обличье!
Что-то розовое и птичье.

Шорох мышиный шел в камышинах,
Зашелестели листья в вершинах.
Пламенем ярким пошло по пруду
И вознеслось, расплескалось повсюду.

ПТИЦА

Сел на ветку малый птах,
То прищелкнет, то присвистнет,
Острый клювик в перьях чистит,
Стало весело в кустах.

Щебетнул — и в небо фьють!
Ну, а ветка расхлесталась,
И качалась, и смеялась —
Распотешил баламут!

СТРОФЫ О ПОЗДНЕМ ЛЕТЕ

1

Сколько примет осенних!
Словно винаща в чане!
Но это только начало —
Осень в самом начале.

2

Назолотило листьев,
Хоть вывози возами,
Ну, а какие травы —
Просят покоса сами.

3

Лето разлито в бутылки,
Солодом буйным клокочет.
Тронь — и высадит пробки,
Больше терпеть не хочет.

4

И кисловатый напиток,
Яблочный, винный и пьяный,
Лиственный и травянистый
Вянет в бутылки стеклянной.

5

Ящерка влезла на камень,
Греясь при солнце последнем,
Травы, змеинные травы,
Свили зеленое с медным.

6

Ветер дышит над лугом
Запахом сена сухого.
Вдруг встрепенется, дунет —
И затихает снова.

7

Словно жлатки в лоханку,
Тучки брошены в воду.
Их полощу осторожно —
Не замутишь бы погоду!

8

Солнце вошло глубоко
В воду, в меня и в землю.
Ветер смежает веки,
Мы потихоньку дремлем.

9

Из кухни — запахи леса,
Запах кипящей хвои,
Сам я придумал это
Варево золотое.

10

Сам и стихи придумал.
Был ли мне кто подмогой?
Их не спеша пишу я
С грустью, с любовью, с тревогой.

11

И не спеши, мой читатель,
Медленно книгу листая.
Сходит огромное лето,
Осень приходит большая.

12

Выпью осени кружку,
Парком пройду безгласным
И на студеную землю
Брошусь под месяцем ясным.

ЗИМА

Утром, на зорьке,
Ранней, студеной,
Улицы будит
Грохот бидонный.

Вольно, просторно
Гукает эхо.
В синих бидонах
Булькает млеко.

Стонут телеги,
Топают кони,
Валится набок
Кучер спросонья.

Утром, на зорьке,
Ранней, студеной,
В сон мой wpłyвает
Бубен бидонный.

В теплом тулупе,
В фуре извозной
Грею дыханьем
Сон свой морозный.

В сон этот теплый,
Ясный, беспечный,
Булькот wpłyвает,
Белый и млечный.

Белый и теплый,
Нежный и близкий,
Сон мой лелеет
По-матерински.

И начинаю
В сумраке раннем
Греть сновиденья
Сонным дыханьем.

Грохот бидонов
Эхо колышет.
Фуры все дальше,
Звуки все тише.

ПЕРВОЕ МАЯ

Мокрый и алый, в небо взмывая,
Стяг на ветру расшумелся над домом.
В день Первомая, в день Первомая
Залито небо солнцем медовым.

Настежь окошки в синей теплыни!
В комнатах — света переплетенье,
Солнечных бликов беглые клинья.
В небе бушует праздник весенний!

Залито светом, дышит строенье,
Крыши пылают каждою гранью,
Окна сияют белым каленьем
И отражают крыши и зданья.

А чуткий ветер волну колышет,
И в ртутном блеске разбились тучи,
И преломились дома и крыши
И отразились в воде текучей.

Здравствуй, сиянье Златого Ока!
Бей в воду, в звоны, в звонкие воды!
Ударь крылами, взлети высоко,
Большая птица моей свободы.

Промчись же с ветром сквозь город мостом,
В кипящем блеске штандартов красных!
От Вислы — к небу, от ветра — к ясным
Высотам неба, расти всечасно,
Моя свобода! Ты так прекрасна!

Ты вся в червонном, ты вся в зеленом,
Над каждым зданьем, над водным лоном
Лети и лейся весенним звоном
В зеленый праздник, в лазурный праздник,
В весенний день Первомая!

РАБОТА

Сегодня снова — в строф квадраты
Предметы втискивать углами,
Тесать, сгибать, четыре грани
Найти и добиваться пятой.

Чтобы на ней, на утаенной
(Из тысяч ведомой немногим),
Суть заиграла смыслом строгим,
Струной напевной, напряженной.

Переплавливать в глазах, как в горне,
Блеск красок в стройный звон металла,
Чтобы легендой быть предстала,
Чтоб слово обнажило корни.

И так в глухом единоборстве
Вторгаться строго и сурово
Словами в сердце, сердцем в слово —
Существовать в упорстве!

ОДИССЕЙ

Ночь ослепла от ливня, бушует чернильная пена.
Небеса расхлестались, и льются на землю помои.
О друзья, не пускайте, вяжите меня бечевою —
Там, в саду, так протяжно, так страшно распелась
сирена!

Словно ящерка вьется двугрудая, скользкая, длинная
В разоренном кустарнике, брошенном в окна туманом.
Чтоб не слышал я пенья, мне уши замажьте хоть глиною:
В музы хочет она, все поет мне о дивном, о странном.

В пене встал океан, словно конь, перепуганный громом,
Тучи — зубрами в пуще, смятенное небо заржало.
Я — шальной мореплаватель, бездна бушует над домом,
Сад свихнулся от пенья, пришел в иступленье от жалоб.

Понесло меня, Ноя, Улисса забросило в омут,
В даль неверных путей, в непогоду, в морское кипенье.
Дева-песенница, лунным светом течет ее пенья,
Сладкой жалобой льется, струится и тает истомой.

Пусть мне кто-нибудь добрый на очи монеты положит,
Самый добрый пускай мне отравленный кубок протянет.
Встань, моя Пенелопа, склонись у последнего ложа —
Я вернулся к тебе, и опять меня в странствия манит.

Видишь, в окнах, во всех, все она и все так же ярится.
И глаза не отвести от чешуйчатого наважденья!
Слышишь, в паводок манит жестокая эта певица
Зовом первой любви, от которого нету спасенья!

Океан принесла, чтобы выл под моими стенами,
Повелела небесным громам грохотать надо мною.
И поет все грозней, потому что любовь между нами,
Чтоб навеки забыл я мечту о домашнем покое.

В сад откройте окно! Там деревья кричат бесновато!
Как утопленник, в песнь поплыву, поплыву безрассудно.
Пусть сорвется мой дом с якорей и помчится, как судно.
О жена, о друзья, мне поистине нету возврата!..

БАЛ В ОПЕРЕ

(Отрывки)

1

Грандиозный бал в столице!
Сам Всевластный Архикратор
Честь окажет многим лицам,
Чистят перышки девицы,
В долг спешат принарядиться,
Толкотня на тротуарах,
Цепь солдат, наряд полиции,
Блещет золото мундиров,
Блещут каски кирасиров,
Кони прядают и ржут,
Мчат авто и толпы прут,
Суета в комендатуре,
Люди мечутся до дури,
Нетерпенье там и тут,
В парикмахерских волненье,
Очередь, столпотворенье,
Все девицы бала ждут.

На афише — Архикратор,
А на лестнице парадной
Пурпур выставлен нарядный,
Олеандров запах рьяный,
В мыле шеф-организатор,
Помесь франта с обезьяной.
Пол надраен в лоск и в блеск,
Блещет пик уланских лес.
Полицмейстер с грозным взглядом

Ходит мерно — раз-два-три —
И любит парадом...
Что за диво! Здесь же, рядом!..
Что за помпа! Посмотри!..
Подъезжают шубы, фраки,
Блещут лаки, шапокляки,
Льнут агенты, как собаки,
Все в пальтишках Барберри.

Шофер шофера ругает,
Агент агенту моргает...
— Проезжай! Не знал где стать!
Шевелись, такую мать!

Подъезжают горностаи
И брайтшванцы,
Барбароссы, оксенштърны
И браганцы,
Подъезжают ройсы, бьюики,
Испаны,
Позументы, ленты, звезды
И султаны,
Полномочные бульдоги
И террьеры,
И бурбоны, и меха,
И камергеры,
Графы, геринги, накидки,
Адъютанты,
Дьюки, викинги, лампасы,
Аксельбанты,
Адмиралы, обиралы,

Принцы крови,
Лица бычьи и коровьи...

Ва!

Ше!

Здо!

Ровье!

Раз!

Два!

Ура, панове!

Ура, панове!

Ура, панове!

В зеркалах —

Лица, лица,

Сотня дам

Суется —

Там оборка, тут оторочка.

— Номерочек? Без номерочка!

Еще подпудрят

И припомадят,

Подправят кудри,

Потом пригладят.

Какая ложа? Не та, другая...

Агент агенту моргает,

Налево, направо, нале... напра...

Оркестр играет! Плясать пора!

Плясать пора! Плясать пора!

Острый звук оркестра-кестра —

Звоном в люстрах, полных блеска,

Плеском скрипок по колоннам,

Барабаном, медным звоном.

Бац! В рукоплесканья, в браво
Металлическая лава,
Джаз, гремящий фуриозо.
Душный запах туберозы —
В ноздри, в кровь плац-адьютанта.
(Темп: шампань, шантан, антанта)
И — схватить, и только — бедра,
Только — бодро, бодро, бодро,
И уж — вскачь, и взор — кастетом,
По паркетам пируэтом.
Обезьяна! Соло! Не по...
Магний фото бухнул слепо,
Бедра, бедра, бодро, бодро,
В диких ордах звон аккорда,
Зубы в смехе — ах, маэстро!
Гром оркестра, гром оркестра!..

3

А на вышках звездочеты,
Глядя в звездные высоты,
Диво дивное узрели:
Обезьяны друг за другом
Мчались, мчались звездным кругом
Во вселенской карусели.
Вместо знаков зодиака
Разместились обезьяны,
И пошла мутить клоака
Мировые океаны.
Круг небес в свой танец пьяный
Запустили обезьяны,
Скачут, кружатся, летают

В клетке неба, как на воле,
И противные мозоли
Звездочетам выставляют.
Нету знаков зодиака,
Вместо каждого — макака!
И кошмаром косоротым
В этой грозной ночи звездной
Манят в танец звездочетов.
Пусть же дьявол поберет их,
Черт возьмет в ночи морозной...

4

А в буфете — мешанина,
Чертовщина, пища, вина.
Там Бурбон и Растаковский
Вьются тоньше серпантина.
На тарелке донны Анны
Вол распластан ресторанный,
Джавахадзе, князь грузинский,
Кус свинины жрет по-свински,
Шах кавказский от бутылки
Рома *cum spiritu vini*
По ошибке тычет вилкой
В грудь графини Макабрини,
Утку жрут с собачьей злостью,
Аж хрустят хрящи и кости,
И охота за икрой:
Хвать кусок, потом — второй,
А ухватят — щерят зубы,
Плотоядно мажут губы
Черной мазью осетровой.

Не мешало балычку бы?
И опять жуют сурово.
Что бы съесть еще такого?
(«Где балык, а где белуга!»
Шпики смотрят друг на друга.)
Чверцомирский из Гайданца
С окороком кружит в танце,
Эстергази, в доску пьяный,
Пляшет с видом африканца,
И из рук его стаканы —
Бац в тарелку донны Анны,
Прямо в соус — хохот рьяный,
Смех премьеров и бурбонов,
И над всем — толпа гарсонов,
Механических болванов.

6

Три на ратуше пробило,
Ветром поле прознобило,
Рассветает.
Петухи пропели где-то,
Плод вбирает кровь рассвета,
Зашептались березы,
Птицы ранние очнулись...
В город первые обозы
Потянулись.

Дроги тянутся со скрипом,
Люд позевывает с хрипом,
Рощи дремлют в зябкой неге,
Ветер прынул над овсами.

В город тащатся телеги
С овощами.

Мчат машины грузовые,
Пыль взметают,
Словно тучи грозовые
Поднимают.

Пареньки идут достойно,
Босоноги,
И несут на рынок масло
Вдоль дороги.

Крикнул кочет, новый крикнул,
Крикнул третий.
Уж на пастбище скотину
Гонят дети.

На шоссе гудит машина
Грузовая.
За коровою мужик идет
Хромая.

А вozy скрипят, раскачиваются
С боку на бок,
В хатах люди поворачиваются
С боку на бок.

Спит в канаве придорожной
Кто-то пьяный.
Ржет стреноженная лошадь
Над поляной.

Колокольня неподвижна
В час прохлады,
Сохнут травы на погосте
У ограды.

Дюжий малый встал в исподнем
Под стеною,
Бородищу расправляет
Пятернею.

Дальше — каменная школа
Меж домами,
В школе карта разрисована
Морями.

Взвод солдат идет с оружием
Куда-то...
«помирать не страшно, помирать не страшно
бравому солдату...»

Мимо дроги едут в пригород
С товаром.
«Купим, купим на базаре
Румбарбарум...»

Козы рядом щиплют травку,
Полнят вымя.
День приходит в светлой пыли,
В синем дыме.

Брызнул плод зарею алой,
Оросив дома и поле.
Наверху, над бальной залой,
Сыщик дремлет в жирандоле.

.

8

Ночью только в дорожных кассах
Осторожно,
Сонно,
Разменно,
А в игорных притонах — страстно,
Л в борделях — самозабвенно,
А на танцах — пьяно и пенно,
И к рассвету — потоком на берега —
Полилась, закипела, пошла деньга.

Из карманов, шкатулок и портмонеток,
В портмонетки, карманы, шкатулки,
За трамвай, за ночлег, за газету,
За лекарство, за зелень, за булки,
В кассы из касс,
За ввоз и провоз,
Во все воеводства
Из всех воеводств,
За пищу, за газ,
За хлеб и за квас,
Из банков, ларечков, лавочек, касс
По банкам, кассам, лавкам, ларькам —
Половым, офицерам, лекарям, резникам,

Константы-Ильдефонс Галчинский

1905—1953

ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ ИОАННА-СЕБАСТЬЯНА БАХА

Все семейство выехало в Гаген.
Я, один во всем огромном доме,
меряю шагами галереи.

Мне забавны — отблеск позолоты,
пеликаны те резной работы,
облака, что мчатся в эмпиреи.

Как люблю я тучи! И хмурый свет в округе.
Словно крепости. Или мои большие фуги.

Хорошо, когда нас оставляют в покое,
когда мы с Музыкою — двое.
Словно лес осенний горит в шандале злаченом.
Сегодня пасхальный вечер. Звон откликается звоном.
О, нынче весело сердцу!

В старых шкатулках старые письма,
листья, засушенные когда-то!
Как славно перебирать свои давние думы!
О праздничный час, серебристые шумы!
Золотые столпы вдохновенья! Кантаты!

И бархат зеленый одет,
шатаюсь по этим залам,
шагами лестницы беспокою.

О, еще до вечера времени пропасть,
чтобы мурлыкать, напевать, чтобы топать,
Чтобы течь заколдованной рекою.

Темные, как ночь, портреты приветливы в зале малом,
посмотришь издали — тень их кутает покрывалом.

Забавно, что кто-то меня называет «мастер»,
говорят: в кантатах моих я небу диктую законы.
Как жаль, что с моим дроздом они совсем незнакомы,
ах, что это за дрозд — свистать он великий мастер!
Завидую я ему! И вам, облака и воды!
Тебе, течение реки! Всем полным звукам Природы!

Гляньте на эти затейливые рисунки,
на эти кресла, где спинка резная,
на эти все золоченые штуки,
на клетки, где поющие попугаи,
на облака, летящие, как феллуки
под ветрами южного края.
Все здесь память, все напоминанье
обо мне, об Иоганне-Себастьяне.

Говорят, что я стар. Как древние реки.
Что время из рук моих утекает навеки,
Да, много его утекло без пользы, я знаю.

Но, дьявол, пусть это так! Еще мои струны не вялы!
Еще, черт дери, существуют мои хоралы.
И не время меня — а я его доконаю!

Вот вернется семейство. И шум будет бальный.
Отразятся дочери в глуби зеркальной.
И гости нагрянут — они у нас не редки.
Я вкусно поем. И выпью степенно.
И ударит в струну пастушок с гобелена.
А потом придет вечер. Я скроюсь в беседке.

Ведь лучше всех скрипок моих,
на которых играл я в ударе,
и всех жемчугов, что хранил я в футляре,
чем сынов моих фуги, чем мечты и виденья,
этот сладостный миг, этот миг вдохновенья,
этот миг, когда видишь сквозь ветки и купы
небывалый, огромный, неистовый купол —
это звездное, это весеннее небо!

ИЗ „ВСТРЕЧИ С МАТЕРЬЮ“

Иду к тебе. В твой мир зеленый.
В твой ветер. В твой просторный снег.
В твой необъятный белый свет,
Где все сезоны на ладони
Твоей танцуют, как силезки,
Где пыль клубится, едет воз,
Зверь пробирается в трясине,

Где лось, рогатый, как лесина,
Так бьет, колотит, барабанит,
Что звезды сыплются с берез.

Где осень — старенькая скрипка,
Беспомощная, словно птичка,
Зима — твоя спина, а лето,
Как золотая рукавичка.
Ее в саду оставил Ян,
Ян Кохановский, тот, что может
Ударить ложкой — и встревожит,
И сразу запоет полмира,
И перья туч взлетят в простор,
Завоет волк, застонет бор,
Как бас Гомера и Шекспира.
Из лунных голубых озер
Всплывет дельфин, за ним — осетр,
И будут слушать леса шепот.
А там — копытец козжих топот.
И дым душистый над костром —
Уха дымится разварная.
Про это Ян писал. И в нем
Моя запевка коренная.

И всё — все музы и прибой
Бемолей, ритмов, рифм, и гром,
И месяц, бледный родич мой,
Что в телеграфных проводах
Запутывается порой...
Башмак оставил... Сам он светлый,
Но мыслей нет в его башке.
Его шнурков большие петли
Запутались в моей строке.

Бруно Ясенский

1901—1938

СЛОВО О ЯКУБЕ ШЕЛЕ *

(Из поэмы)

Танцевала хата, стол,
три коня, четвертый вол,
вся скотина топотала, —
кавалеров не хватало.

Танцевала печь с метлой —
не женись на молодой!
Конь с ведром, с людьми — посуда,
бог их знает, кто откуда.

Танцевала скрипка, бас,
белы тропы в черный час.
Танцевали ветлы, елки,
шли вприсядку все проселки.

Танцевала хата, двор, —
был в танцорах недобор!

* Здесь даны отрывки из первой и третьей частей поэмы об одном из вождей галицийского восстания крестьян 1846 года. Во второй части рассказывается о хождении Якуба Шели во Львов к австрийскому наместнику в качестве посланца от крестьян и о расправе над Шелей, учиненной помещиком.

Падал дождь. Плакал дождь.
Моросил не шибко.
Заводила, голосила
в тесной хате скрипка:

Что же ты-то, Марысь, ты-то,
словно горькая ракета,
что ж ты слезками умылась,
что к подружке приклонилась?

Или, Марысь, ты от сглазу
не пошла плясать ни разу,
или ножки приустила,
нынче свадьба не твоя ли?

Падал дождь. Плакал дождь.
Шарил по балясам.
Дивовался контрабас,
удивлялся басом:

Или ты ослепла
от туманов летних,
что понравился тебе
смажовский каретник?

Или ты, Марина,
впала в сон бредовый,
что заместо молодых
приглянулся вдовый?

По тебе ль, Марина,
этот парень тертый?
Он трех жен похоронил,
быть тебе четвертой!

Вдовый волк, будет толк,
все получишь чохом.
Зря польстилась ты, Марина,
на моркву с горохом.

Иль тебе не любо,
Марина, Марина,
что под пляс контрабас
так играет длинно?

Падал дождь. Плакал дождь.
Плакал над дубравой.
Подыгрывал, подмигивал
Кларнетист плюгавый:

Надоели гуси-утки,
надоели тряпки, шмутки,
на работу не ходи —
замуж, замуж выходи!

По одру, выходит, кляча,
что ж ты плачешь, слезы пряча,
по барану и овца,
ступай замуж за вдовца!

Как приехал Шеля с водкой,
упирались дядька с теткой,
говорили: нет да нет,
чай, тебе пятнадцать лет.

Шел бы, Шеля, честь по чести,
Поискал бы в новом месте;
дожил лет до тридцати —
бабам головы крути!

Падал дождь. Плакал дождь.
Моросил все тише.
Танцевало все село,
набекрень все крыши.

Эй, играйте, Йозек, Берко!
Вот вам водки полведерка!
Будет водки по ведерку
в честь женитьбы, в честь четвертой!

Ну-ка, Марысь, попляши-ка,
топни ножкой ради шика.
Не уйдешь по доброй воле,
обратали нас в костеле.

Встали вербы, смотрят в щели,
как гуляет свадьба Шели.
Ничего, что парень вдовый,
будет в доме яства вдоволь.

* * *

Ой, и глупый ты, Шеля, детина,
и какой из тебя, Шеля, муж!
Полбазара скупил для Марины,
а не надо бы браться за гуж.

Ой, чудной же, чудной же ты парень!
Ой, и где же ты, Шеля, возрос!
Ради взгляда очей ее карих
все село бы к ней в хату привез!

Хоть как яблонь рожай, хоть как яблонь
сбрось все яблоки, все раздари,
этой дикости, ярости бабьей
не угасишь ты в бабьей крови.

Ой, не знаешь ты, Шеля, эту ярость,
ой, остался же ты, Шеля, дураком,
ой, и ходит в овсы твоя Марысь
с дюжим Вицком, с твоим батраком.

Ты спросил бы у соломы, у омета,
сколько раз выходила по росе
твоя Марысь, истомленная до пота,
с мятой травкою, приставшею к косе.

У голавля плавник серый,
а у щуки — желтый.
Ах, попал впросак ты, Шеля,
не любовь нашел ты!

На овине — дверь с засовом,
сено — облаком пуховым.
И снопы в углу овина,
словно панская перина.

«Ты укрой меня собою,
словно тучкою ночью,
дай отведать, Вицюш, брашна,
мне от жажды этой страшно!»

«Дай мне, Марысь, в губы впиться,
дай мне досыта напиться,
дай прикрыть тебя собою,
мягкий луг взрыхлить сохою».

То ли солнце в черной туче
скрылось, угасая,
отчего в дверном пробое
встала тень косяя?

Ой, не облаком, не тучей
скрыта луговина —
то стоит сам Якуб Шеля
посреди овина.

Как ударил Шеля раз,
искры брызнули из глаз.

Как ударил по второму —
цевкой прянуло в солому.

Как ударил Шеля в п а х , —
только ахнул Вицюш: «Ах!»

Как в четвертый развернулся,
упал Вицюш, не копнулся.

Вытер Шеля кровь полой:
— Ну-ка, сука, марш домой!

Запер хату на запоры,
вышел в поле за заборы.

Колокольный звон пропал.
Сивый сумрак в поле пал.

Шел, дорог не разбирая,
мрак руками раздирая.

Узкий месяц встал в степи.

Был дурак — теперь терпи!

* * *

Ой, дорога, нехоженная, дальняя!
Ой, дорога, недобрая, неблизкая!
Две ветлы да осина печальная,
а на закорках — облако низкое.

А и вьешься, дорога, ты вьешься
через чьи-то нивы чужие.
А и льешься, дорога, ты льешься,
как трухлявые литании.

У речушки, в березах по звонницу,
когда осень глядится в распутье,
церковь-прачка над судьбами клонится,
их полощет, как мокрые лоскутья.

И не выплыть и не согнуть с воплями,
не всосаться нам в песок сыпучий —
Четырехрукий ветряк-утопленник
машет, разгоняя обмылки-тучи.

Ты не слышишь, дорога, наши проклятья,
и беду ты нашу не разделишь!
Как поваленные белые распятыя
перекрестки нам под ноги стелешь.

* * *

Там, где тропок росстань,
в потаенном месте,
гожеевские ребята
собирались вместе.

Валюш был пастух там —
по снегу, а босый,
он топор за пояс сунул,
оперся на косу.

Как дрожали хаты,
как гремели долы,
по снегам плясали крыши,
разметав подолы!

Шел ветряк вприсядку,
облетел всю залежь,
за ним следом стружки-щепки
в пляску увязались.

Танцевала вся родня
день за днем четыре дня.

На усадьбе втапоры
танцевали топоры.

Танцевали — трах-тра-ах!
На дорогах, во дворах.
Танцевали где кто мог —
снег, как искры, из-под ног!

Был снег. Мороз.
Крест слег в лед врос.
Кровь с уст — туз черв.
Лес пуст — пик чернь.

Танцевал лихой народ.
Кто на мост, а кто на лед.
От Седлиски до Смажовы —
перелески да сугробы.

Управитель с мужиком
под стеною, да молчком,
пан с судьей плясали вместе,
не сиделось им на месте.

Танцевали — зуб о зуб,
из окошка — шась за сруб.

Танцевали с горки на дол,
в этой пляске кто-то падал.

Танцевали — топ да скок —
хлопский нож и панский бок.
От заплота до отводка
кровь текла, хмельна, как водка.

Танцевали пан и пень.
Ночь была как белый день.

Им еще плясать бы —
только нет усадьбы.
Утром панов брали,
под крылечком клали.

Из-за перелесиц
ехал верхом месяц
в сапожках красивых,
под ним мерин сивый.

Над густым оврагом
пустил коня шагом.
А где кровь хлестала,
вдруг его не стало.

Ой ты, воля, расхристанная, просторная,
вольная воля,
вольное поле!

Покатилась ты по полю, воля,
по снежной известке в сахарную ночь,
снежным яблочком — по лужочку.

Закрутилась ты волчком-коловоротом,
заляскала собакой приبلудной,
сорвавшейся с привязи будней.

Расшумелась ты с плеском-расплеском
паводком серым — от нашего места
за самый край небесный.

Выше скирд, по лесным завалам,
по полям, по дороге пустынной,
танцем-громом, лавиной-обвалом !

Эх! воля!

Озимью мерзлой по нивам
Долго таился испуг.
Голод твой вырос нарывом —
вырос и вспух.

Расплясалось пламя,
разметалось, как знамя,
пламя лихо плясало,
искры — как из кресала.

Переводов касалось —
крыша наземь, бросалась,
потолок обвевало,
пляске в такт подпевало:

«Те смажовские хлопы
на пожаре не плохи:
чтоб скорей я погасло,
подливай мне масла.

А седлиские парни
застудили весь жар мне,
воду горсткой таскали,
из наперстка плескали».

Будет! Довольно! Помучили нас!
Гуляй, громада, ветрам напоказ!
В поле, на воле, коней выпрягай,
с вашего поля жандармов шугай!

Гуляй! Да не прячься башкою в окоп!
Были — убили, пуля и гроб!
Воля да поле, да все кверху дном —
пашет надсмотрщик, везет эконо́м.

Эй же, да ну же! Гала да гай!
Фуры в сараи, коней выпрягай!
Рухлядь хватайте, на доли деля!
Сбиты запоры — настезь земля!

Гуля-а-а-й!

* * *

Тучи ль на восходе зачернели?
Курьими ли перышками снег валит?
Потекли по тракту черные шинели,
лопот перьев, топ копыт.

То не воеет небо песьим воем,
то не снегом дали занесло —
едет по дороге строй за строем
цесарское войско на село.

Шляхи молчаливы и морозны,
придорожный явор машет в такт.
Ставили солдаты ружья в козлы,
острыми тенями распорол тракт.

Облетела новость все селенье,
колотила лапой в крестовины рам;
венский кесарь шлет нам повеленье:
делить усадьбы! Землю — нам!

Вылетел вперед — перо султаном,
бумага из-за пазухи: так и сяк.
Мелко дробь посыпалась по барабанам,
в тишину просыпалась, словно мак.

«Мы повелеваем, Кесарь Ладомерский,
Австрии, Венгрии и проч. и проч.,
мужикам не тешиться мыслью дерзкой
и в дальнейшем бунтовать не мочь.

Кто же не послушает нашего указу —
описать имущество, отобрать жилье,
приказать капралам — брать их сразу
и в солдатчину — под ружье».

Долго барабанил и долдонил,
слово за словом по ветру пускал...
А в деревне тьма, как под ладонью,
тишина настала, сумрак пал.

* * *

Как ушло обратно войско,
протрубив сигналом,
так исчез куда-то Шеля,
на два дня пропал он.

Только ночью да полночью
побудил деревню,
словно в пуще каменницкой
вопрошал деревья.

Он оттуда воротился
сивый, постаревший,
словно на замок замкнулся,
страшен стал, как леший.

На раскрестке от распятыя
тень легла по лугу.
Шапку — под ноги и крикнул
он на всю округу:

«Ой, ветряк, зачем руками
машешь из тумана?
Знать, стонать вовеки хлопу
под нагайкой пана!

Видно, кесарь нам не кесарь,
бог нам стал не богом.
Не подумают о хлопе,
сиром и убогом!

Верил в кесареву ласку
хлоп, как в божье чудо,
а зато панам нас продал
кесарь, как Иуда.

Сам сейчас на синих Венграх
с шляхтой веселится,
пусть ему собачьей смертью
этот грех отмстится.

Выдь, мужик, вставай за право,
выдь со всем народом.
Сам нас кесарь звал на это
перед тем, как продал.

Дня четыре ладил, спорил,
и конец был торгу:
чтобы хлопам в знак согласия
дать кнутами порку.

Сам сейчас винишко цедит,
с шляхтою гуляет...
Не дождемся мы, что волю
дать нам пожелает!

Милость панская жестка!
Не дадим ни колоска!
Не потерпим больше краж!
Наша пашня, выгон — наш!

Кесарь с паном руки жмут:
наша шея, их хомут!
С ними сладил, с нами — сладь,
мог продать — попробуй взять!»

Стал хам не слеп!
Бей сам в лоб цеп!
Хошь рожь — режь, мажь!
Хоть грош — а наш!

* * *

Только вешними цветами
зацвела округа,
как приехали жандармы
забирать Якуба.

Отлетела ночка
на прохладной тучке,
как Якубу надевали
кандалы на ручки.

А как провожали
до кривой березки,
с неба звезды покатались,
что людские слезки.

Как он шел мосточком,
да глядел на заверть,
выплывали рыбы в прорубь —
людям верши ставить.

Вдоль прозрачной речки
берега дрожали,
как за Шелей следом рыбы,
словно псы, бежали.

Как вели болотом,
ухал филин с ели,
одного жандарма волки
с потрохами съели.

А как миновали
придорожный явор,
стали бить его жандармы,
говорить: «Эй, варвар!»

«Явор ты мой, явор!
Верный ты мой сторож,
ты храни мне лес, мой явор,
возвращуся скоро ж!

Сторожи мне, явор,
и расти до неба,
на твои суки мне скоро
будет вновь потреба!

Вы домой ступайте,
милые браточки!
Вот придет весна на землю,
отпотеют почки!

Выйдут девки в поле,
только схлынут воды,
хороши на панской крови
будут нынче всходы!

На чужом-то поле
прорастало худо,
на своем-то каждый колос
вырастет в полпуда.

С вами, мироеды,
нам не сговориться,
уж скорей огонь с водою
может помириться.

Все пути-дороги
к нам перепашите,
встанет черный колос мести
в придорожном жите!

Хоть на пнях пшеницу
вы б растить сумели,
не забудут ваши хлопы
коновода Шелю!

Чтоб крепчали всходы,
я вспугну недолю,
словно воду из лохани,
распещу по полю».

Владислав Броневский

1897—1962

ПРИЛИВ

Mais si parlez d'amour, car
tout le reste est erime *.

В шумящее море, в море ночное
созвездья летят, догорая.
Сегодня я сердце тебе открою —
прилив, прилив, дорогая.

По Средиземному в синие дали
плыл месяц по светлой пустыне,
шли волны на берег и пропадали,
как будто слова пустые,

волна пропадала и возвращалась,
подобно любви ненужной,
и равнодушно звезда качалась
на волне равнодушной.

Любовь угасала, как угасают
красивые и молодые,
я жадно всматривался, ужасаясь,
в ее черты дорогие.

* Да, говорите о любви, все остальное — преступление
(франц.).

Я гордому сердцу твердил упрямо:
«Не надо любви печальной!»
Она росла, как приделы храма
от музыки погребальной.

Слова отчаянья в эту полночь
задохлись, не видя свету.
Любить, коснуться, увидеть, молвить...
Но нету тебя... но нету...

А море билось в часы прилива
с упорством и одичаньем,
мы были искренни и правдивы,
заброшены и печальны.

И не было слов. И в эту полночь
с рукою рука встречалась.
Забуду, забуду, не буду помнить,
как наша любовь кончалась.

Ах! Ею сияют волны, и скалы,
и звезды в морском прибое.
Но мало мне звезд и моря — мало,
была бы она со мною!

Я обнял бы снова весь мир счастливый,
который огромен и тесен,
волной вспененной, волной прилива,
волною неспетых песен.

Я плачу, милая... В звездном настое
тает пена седая...
И шепчет имя твоё простое
прилив, прилив, дорогая.

В КОНЦЕ МАЯ

По улочке музы ходили
и Ильдефонс-Константы *,
и нагло авто скользили,
а я бы там не остался!

Пусть в сельско-сусальном довольстве
амурчиков пухлых гирлянда
висит на венгерском посольстве.
Сбежать бы оттуда, Ванда!

Пусть там соловьи рокочут,
водичка журчит, играя!
А сердце — ох, сердце хочет
уйти из этого рая.

Добраться до Казимежа
на это самое лоно,
где ветры и травы свежи,
где воды шумят бессонно,

и пьяным без алкоголя
бродить весь день по осоке,
в душе — несжатое поле
и строки...

* Ильдефонс-Константы Галчинский — польский поэт. См. переводы его стихов на стр. 29—32.

ОСВЕНЦИМСКИЕ РАССКАЗЫ

Прочел я, слезы не утирая,
книгу Марии.
Так вот пишут они, умирая, —
живые.

Мне не пришлось побывать в Освенциме,
но знаю там каждый угол.
Мария... Осталось одно лишь имя...
Да вьюга.

И шла под вьюгой в платьишке рваном
на голое тело.
Слева — эсэс, справа — охрана,
курить хотела.

Ничего у ней не было — ни зипуна,
ни единого грошика,
и зывала ко мне, зывала — одна-
одинешенька.

Мечислав Яструн

род. 1900

ЗАБОР

Весной трещал, грозой продробен,
Вдыхал туман под низким небом,
Глухой, угрюмый жар окраин
Наваливался ярим гневом.

В разгаре лето. Над забором
Бунтуют листья и побег.
И вереницей едут в город
Углем груженные телеги.

Шли каменщики в клубах пыли,
Со сходки шли в тени ограды.
Впотьмах от спички прикурили,
Подставив спину звездопаду.

Шрифтом мостов, литым набором
Под гроздьями листвы нависшей
Ворчали буквы над забором
С дышащей мятежом афиши.

Ночь. Сад. Разнузданы планеты,
И теней сонные завалы.
Гляди! Безумец на штакете
Гвоздем скоблит инициалы.

Был день шестидесятилетия.
Черемуха цвела, как вьюга,
От пенья птиц дрожали ветви,
Пел дождь струной, струной, звенящей туго.

Потом стреляли залпом. В раже
«Убит!» — кричали из колонны.
И, пробивая стены вражьи,
Пейзаж пылал под небосклоном.

СКАЗКА

Младенцы, пареньки, приятели зверей,
Когда, чертя на тротуаре мелом,
Смеетесь, кто б посмел при вас шепнуть: резня!
Но уж стоит она, как ведьма над младенцем,
Иродиада с тазом крови, с полотенцем,
Провидя вашу смерть и сполохи огня
И слыша смертный крик в дыму осатанелом.

А там вас бросят в братскую могилу
Под барабанный бой комков земли,
Чтоб вы не встали и не испугали
Тех, что на стол, как пешек, вас бросали
И на восток в вагонах повезли.

И я штандартов шелест слышу снова,
Поет петух в распахнутую ночь,
В стеклянной зимней мгле поет, пророча,
Из далей, не заледневших в слове.

ЯБЛОКО

Я взвесил яблоко в руке,
Протер до глянца,
Душистым жаром на щеке
Дни лета длятся.

Я на ладони ощутил
Пыльцу планета.
К чему писал, зачем я жил
В громах планеты?

Сынишка руку протянул
И плод взял спелый
И жадно к мякоти прильнул
Душисто-белой.

Тадеуш Ружевич

род. 1921

ДЕРЕВО

Были счастливы
поэты на свете.
Мир был, как древо,
поэты, как дети.

Что ж вам повешу
на ветке древесной,
если прибил ее
ливень железный?

Были счастливы
поэты на свете,
около древа
плясали, как дети.

Что ж вам повешу
на ветке древесной,
на опаленной,
на бессловесной?

Были счастливы
поэты на свете,
пели под дубом,
как малые дети.

А наше древо
в ночи заскрипело,
с ветки свисает
мертвое тело.

БЕЛОЕ ПЕРО

Белое перышко,
черная ночь,
красная кровь,
небо и степь.
Песнь течет,
течет вино.

Окно корчмы.
В окошке — тень.
Блещет перышко,
близок день.
Льется кровушка,
а не вино.
На виселицу королей!

С весельем
легким перышком
писал,
в хмельную влагу
окуная.

Для перьев же,
тяжелых, как топор,
нужна была
тиранов
кровь дурная.

Писал и кровью,
и вином,
скрипело перышко
гусиное:
На виселицу королей!

А если милой
песнь писал,
перо, как ласточка,
взлетало.

Он отрясал
и боль и гнев,
окутан страстью,
к ней спешил,
чтоб молча к сердцу
притулиться.

Перо скрипело
ночью черной:

На виселицу королей!

Перо пылало
ночью красной:

На виселицу королей!

Есть неизвестная
могила,
там, в шегешварской
стороне *.

Она лежит
в земле венгерской,
в венгерском хлебе
и вине.

* Венгерский поэт Шандор Петефи пал в сражении под Шегешваром (1849 год). Могила его неизвестна.

Из чешских поэтов

Иржи Волькер

1900—1924

ПОБУДКА

Трубачи побудку трубили
на плацу в предместье.
Мы лежали с милою вместе
на белой постели.

На белой постели в горнице
сегодня не сыщешь скромницы,
потому что по улицам черным,
за окнами,
изранены до крови,
расстреляны в сердце сигнальным горном,
солдаты идут по приказу протяжной побудки.

Сказал бы, что войны нету,
и все ж боевые сигналы длинно поют до свету,
и ты должен, солдат, с любимой расстаться —
чего ради,
когда у нее любовь во взгляде,
у швей, у фабричной девчонки,
у милой!

Трубачи у казармы
не играют отбой,
всех мужчин созывают на бой.
Ну и я — как все.
Оторвись от тебя, не мешкая ни минутки,
уйду по приказу великой побудки.

Ушел от тебя,
от девчонки милой,
вернусь к тебе,
как муж к жене,
и все у нас будет иначе —
и любовь другая, и мы сами иные.
Как военный трубач свой горн горячий,
прижму к устам тебя, дорогая,
и любовные звуки потекут, как тропа полевая,
на рассвете на все четыре сторонки,
чтоб солдаты, служанки, парни, девчонки,
все влюбленные и разлученные
шли по нашей тропке друг другу навстречу
по велению сердца.

БАРЫШНЯ КАНТАРЕЛ

Как будто лань в один прыжок
перенеслась через лужок
иль спел ликующий рожок —
так твой танцующий шажок
был беззаботен, легок, смел,
и так же он звучал и пел,
о дорогая Кантарел!

А эти ножки так легки,
как розовые мотыльки,
которых занесли ветра
на праздник солнца, в клевера.
Лишь тот, кто сердцем постарел,
не трепетал и не горел
перед прекрасной Кантарел.

Над смуглым лбом, легка, пышна,
волос кудрявая волна,
они сбегают в два ручья
по белой крутизне плеча.
И кто хоть мельком посмотрел,
тот не уйдет уже от стрел
прекраснокудрой Кантарел.

А этих губ полуовал
сам Аполлон нарисовал.
В них свежесть, аромат и зной,
как будто в ягодке лесной,
в которой сладкий сок созрел.
А я? — Я столько раз дурел,
к ним прикасаясь, Кантарел!

Твой смех — источник, где на дне
луч солнца бродит в глубине.
В нем щебет, блеск, и звон, и зов,
и тихий плеск колоколов.
Я звон услышал, луч узрел
и удержаться не сумел.
К тебе иду я, Кантарел!

ЯРМАРКА

Ярмарка, гомон, гнездо осиное —
будки, лавочки и шатры
крыты ветхою парусиною.
Хошь — покупай, хошь — так смотри.

Пряник сердечком — берите, девушки,
а там за крейцер — счастье в кулке.
Ребятишки сжимают денежки —
мелкие денежки в кулачке.

Ходят суровые старые барыни,
трогают, щупают, смотрят на свет,
ищут себе подходящий товар они —
чтоб без износу на десять лет.

Лает шенок — от тоски, от обиды ли,
что происходит, ему не понять.
Дамы в шелках — деревянные идолы.
Хочется мять, продавать, покупать.

Толпы людей валят по городу,
голос свистушек, хохот и спор.
В каждом трактире люда-то, гомону,
крику-то, дыму-то — вешай топор!

Все здесь шумит, покупает, торгуется,
пьяные крики срываются с губ.
Ветер шалит, парусина волнуется...
Ну, а мне прицениться к чему б?

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Тень голубых небес легко легла по снегу,
а солнце желтый глаз над кручами зажгло.
День затаил в себе серебряную негу.
Путь в гору. Я иду. Кругом белым-бело.

Махнул мне красный лес ладонью деревянной
и колокольня улыбнулась в стороне.
И стало розово от пелены туманной,
и что-то сладостно забормотало мне.

И радость быстрая в санях по бездорожью
летит вдоль ската вниз по снежной целине.
Так обернись и оглядись, прохожий,
пусть дремлет боль в сердечной глубине.

Спешу бесшумно вверх, там облака и царство
нетронутой красы под небом голубым.
Там чужды сумеркам измена и коварство,
и битвы жизни непонятны им.

И если ты один, и ты идешь бесцельно,
и если растерял все то, чем был богат,
здесь, в снежной белизне, где небо беспредельно,
ты снова обретешь свой драгоценный клад.

НЕ ХОДИ ЗА МНОЙ

Не ходи за мной, сделай милость!
Я глазам твоим удивилась.
Я помочь тебе — помогу:
и спою тебе, и станцюю,
и улыбкою зачарую,
а любить тебя — не могу!

Не ходи за мной, сделай милость!
Заблудились мы, заблудились —
я от смеха, ты — от меня.
У меня любовь — на ладошке,
У тебя любовь — на дорожке, —
зачарованная она.

В КАБАЧКЕ „У КОРОЛЯ БРАБАНТА“

В кабачке «У короля Брабанта»
семеро сошлись невесть откуда,
семеро тихонько попивали,
под гитару тихо попевали.

«Я оставил суженую дома.
Без нее кручина одолела.
Спой-ка, братец, спой-ка мне о тройке,
как летел на тройке парень к девке.

Только с вами, други, петь не стану,
в песню, словно в саночки, усядусь,
гикну я, по пристяжным ударю:
«Гей вы, соколы мои гнедые!»

Семеро сошлись невесть откуда,
семеро не молвили ни слова,
только вдруг взмахнули рукавами,
словно ямщики на дикой тройке.

Иозеф Гора

1891—1945

ПУЛКОВО

Там, где сугробы
Как белые шубы,
Падают звезды
В подзорные трубы.

Падают, легкие,
Сыплются, тают.
Их звездочеты
Сбирают, считают,

Перебирают,
Пригнувшись суголо.
Время у них
На коленях уснуло

Витезслав Незвал

1900—1958

КОГДА СОСТАРИШЬСЯ

Когда состаришься и станешь слышать хуже,
Когда одну лишь тень руками будешь прясть,
Когда озябнешь ты от неприметной стужи,
Когда твой блудный сын утратит пыл и страсть,

Когда под гнетом туч твои согнутся плечи,
Когда и я прошусь с раскрашенным жезлом,
Тогда, как инвалид, вернусь я издалече
К тебе, в наш старый дом, и сядем за столом.

Тогда, клонясь к земле свинцовой головою,
Услышим звон ручья, откуда — не постичь!
Тогда — когда-нибудь — расстанусь с немотою,
Забуду, может быть, свой стыд, свой стыд, свой бич.

И прошепчу слова, какие шепчут в нуки, —
Я не дал их тебе по собственной вине.
Как скроешь ты тоску, куда упрячешь муки,
Куда упрячешь стыд, который страшен мне!

Что ж, разве не тебя искал я жадным взглядом,
Когда любил других — надеясь, что найду!
Я звал тебя, отца — а ты сидела рядом,
Когда метался я в горячечном бреду.

Губительны слова, губительней, чем чувства,
И звуки их страшны, как эхо в тишине;
И я закован в них, как будто в панцирь узкий,
А реки вен моих безумствуют во мне.

Когда состаришься и станешь слышать хуже,
Когда одну лишь тень руками будешь прясть,
Когда озябнешь ты от неприметной стужи —
В твоей крови моя заледенеет страсть.

ДОРОГА

Ушел я этот раз в осенний долгий ливень
Далеко от жилья, где тихо ты спала.
Я вдоль опушки брел над речкою бурливой,
Где взбухшая волна мутна и тяжела.

У моста, под горой, я встал перед трактиром,
И образ рождества возник передо мной.
Я возвращался вновь к знакомым мне картинам,
И долго я следил за мутною волной.

За мостиком крутым я отыскал случайно
Тропу, где душегуб в тени таиться мог.
Местечко за леском шумело, как овчарня.
И вдруг увидел я знакомый мне порог.

И матушка моя (не снится ль?) вдаль глядела.
В отлучке был отец. Сестра уже спала.
Мы сели вечерять. И кофе закипело.
И старая квашня глядела из угла.

Я шел к себе домой, как будто шел к чужому,
И в комнате своей углов не узнавал.
Ты не смыкала глаз. А я, мечась по дому,
Как сказочный король, рыдая, ликовал.

ЧЕРНЫЙ ДРОЗД

Дрозд повис на ветке,
Как черный лист сухой,
Уставился острыми глазами,
Как будто читает строку за строкой.
Что написано?
Дрозд! Я домой воротился!
Это мой отчий край.
Я с дивных высот спустился,
С высот, где мрак и лед.
А здесь, мой дрозд, и время так быстро не течет.
Здесь воздух свежий и чистый,
Чернеют листья тут
И увядают листья,
А если опадут —
Земля вдруг станет сказкой из книг Шехерезады.
Вот так, мой дрозд,
Мой черный лист
На черной ветке сада.

ВЗДОХ

Жалко леса
На скверные книги,
Жалко солнца
Для высохшей ветки,
Жалко судна, затонувшего в реках,
Жаль слезы для злого человека.

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Уж совсем иными стали
Пражские дворы!
Там шарманку окружали
Стайки детворы.

И тогда звучал органчик
И хрипел слегка.
И играл старик шарманщик
Ради медяка.

А жена его, одета
В бальное тряпье,
Нагибалась за монетой
И кляла житье.

Злые дни тогда мелькали
В горькой маяте,
И, казалось, привыкали
Люди к нищете.

И не то чтобы жестоки
Были или злы.
Просто ждали — минут сроки,
Свет блеснет из мглы.

И окончились страдания
Той, иной поры.
До свиданья, до свиданья,
Старые дворы!

ЭДИСОН

(Из поэмы)

* * *

Жизнь у нас тоскливая, как плач...
Как-то шел игрок, томясь от неудач,
Падал снег в хрусталь ночного бара.
Дело шло к весне, был воздух полон пара,
Но дрожала ночь, подобно прерии,
Под ударом звездной артиллерии.
К ней прислушивались, опершись на столики,
Над пустым бокалом алкоголики,
Дамы с перьями вокруг обнаженных плеч,
Меланхолики, утратившие речь.
Было что-то здесь, что превращает в прах, —
Перед жизнью страх и смерти страх.

Я шагал к себе домой через Легий мост,
Шел, мурлыча песенку под нос,
И огни судов на Влтаве пил запоем.
Город провожал меня полночным боем.
Полночь. Роковой звезды закат.
Теплый пар. Февральский снегопад.

Было что-то здесь, что превращает в прах, —
Перед жизнью страх и смерти страх.

Я, склонившись над водой, увидел тень,
Тень самоубийцы, падавшую в темь.
Было что-то здесь глухое, как тоска, —
Грусть и тень ночного игрока.
«Кто вы? — я спросил. — Зачем? Помилуй бог!»
Он угрюмо отвечал: «Никто. Игрок».
Было что-то здесь, молчавшее во мгле,
Тень была, подобная петле,
Тень, летящая с моста, чтобы разбиться!
«Ах, — воскликнул я, — так вы самоубийца!»

Шли мы об руку, спасенные от гроба,
Шли мы об руку и размышляли оба,
Шли мы в Коширже, предместьем, в поздний час,
Веера ночные провожали нас —
Танцы хмеля над киосками печали,
Шли мы об руку, мечтали и молчали.

Было что-то здесь, что превращает в прах, —
Перед жизнью страх и смерти страх.

Отпер дверь я, засветил рожок,
На ночлег ко мне пришел ночной игрок.
«Заходите, пан, ведь места здесь немало».
Оглянулся — тень моя пропала.
Был ли мой игрок самообман, мечта?
Комната была, как и всегда, пуста.

Было что-то здесь, что превращает в прах, —
Перед жизнью страх и смерти страх.

Я присел за стол, где книги мирно спят,
И глядел в окно на снегопад.
Видел, как снежинок вьется белый рой,
Я сидел с моею призрачной хандрой,
Пьяный от каких-то тайных ощущений.
Пьяный от огней, переходящих в тени,
Пьян от женщин, змеем искушаемых,
Пьян от женщин, страстью иссушаемых,
Пьян от них, жестоких и самозабвенных,
Пьян от наслажденья и кровавой пены,
Пьяный от всего, что превращает в прах,
Пьян от бытия, в котором грусть и страх.

«Полно, — я сказа л, — забудь пророчество эту!»
И открыл вчерашнюю газету.
Там среди новостей был четко нанесен
Типографской краской Эдисон.
Рядом с ним — какой-то новый аппарат.
Он сидел, одетый в рясу, как прелат.
Было что-то в нем, что потрясает нас:
Радость бытия и смелость без прикрас.

* * *

Жизнь у нас обманчива, как сон..
Шел однажды по Нью-Йорку почтальон.
Было за полдень, весною. День погожий.
На Бродвее молча встал прохожий.
Прямо к Вестерн-Юньюн вышел он,
Что гудел, как старый граммофон.
Это был газетчик и мечтатель,
Замечательный изобретатель.

Тысячи таких терпели крах,
И остались звезды на своих местах.
Тысячи людей без этого живут!
Это вовсе не упорство и не труд,
Это авантюра, как в открытом море, —
Запереть себя в лаборатории.
Ведь другим за это братья неохота —
Здесь алхимия, а не работа.

Воскресенье — гул церковных звонов.
Станция — сигналы телефонов.
Вот вы слушаете разговор влюбленных,
Разговор о сделках незаконных,
Говорят грабители, бродяги,
Говорят откуда-то из Праги.

Мир стучится в ваши уши где-то рядом,
Вот вы стали электрическим зарядом,
Вот взлетают к звездам импульсы и звуки
И, как птицы, возвращаются к вам в руки.

Словно голуби — мальчишечья забава, —
Возвращается оттуда ваша слава.
Сон откладывается до завтра.
Вы — лихой игрок в пылу азарта.

Вечно жить, не излечась от мании...
Как-то вы узрели в Пенсильвании
Ночь и лампу Бакера с дугой.
Ту же грусть вы испытали, дорогой,
Что и я, создав роман когда-то,
Как циркач, прошедший по канату,
Или женщина, что родила,
Иль рыбак, уставший от весла,
Как любовник после наслажденья,
Как боец, идущий из сраженья,
Как земля по виноградном сборе,
Как звезда, встречающая зори,
Или человек, что вдруг утратил тень,
Или как господь, создавший ночь и день,
Бог, недавно сотворивший слово,
Бог, мечтающий творить всегда и снова,
Бог, творящий облака, что чаши,
Наполняющий их влагою сладчайшей.

Было что-то здесь, что потрясает нас:
Радость бытия и смелость без прикрас.

В октябре, под вечер, в этом же году,
По привычке размышляя на ходу,
В кабинете в славном Мелонпарке,
Где посланья, письма и подарки,

Мельничку мечты крутя слегка,
Вылепили вы из уголька
Птицу наших снов и наших бдений,
Бич теней, погибель привидений,
Белку огненную будущих годов,
Ангела углов, ворот, домов,
Розу ресторанов и хрустальных баров,
Огненный фонтан ночных бульваров,
Городских мостов светящиеся четки,
Ореол для уличной красоты,
Светлые венцы для кораблей морских,
Сдержанные слезы башен городских,
Плачущих над улицей угрюмой
И над храмами старинных мумий,
Над кафе, где пьется допьяна,
Над зеркальным льдом студеного вина,
Над рекою призрачной и старой,
Над моей душой — разлаженной гитарой,
На которой я, взыскуя ласки,
Плачу и бренчу, меняя маски,
Страстный трубадур, и принц, и самозванец
Города распутников и пьяниц.
Я в него вхожу во сне, как в Балморал,
Сквозь кордон людей и узников хорал,
Сквозь кордон убийц и истеричных плясок,
Мимо разукрашенных колясок,
Сквозь кордон страстей и траурные звоны,
Сквозь кордон химер, летящих на балконы,
Пьян от женщин горьких и самозабвенных,
Пьян от наслажденья и кровавой пены,
Пьяный от всего, что превращает в прах,
Пьян от бытия, в котором грусть и страх.

* * *

Жизнь у нас веселая, как смех.
Как-то ночью я почувал снег,
Запах новостей я различил бессонно,
Мне явился образ Эдисона.
Было это за полночь, зимой,
Разговор я вел с самим собой,
Говорил, как будто в опьяненье,
Со своей отсутствующей тенью.

Как рефрен, звучал во мне какой-то тон,
Я на цыпочках прокрался на балкон.
Предо мной огни ночные трепетали,
Как на дне морском, под ними люди спали.
Ночь вокруг дрожала, словно прерия,
Под ударом звездной артиллерии.
Башенных часов я различал гуденье,
А по набережной пробегали тени —
Тени городских самоубийц,
Тени старых уличных девиц,
Тени легковых авто, что с хода
С ног сбивают тени пешеходов,
Тени горбунов на улицах неясных,
Тени сифилитиков безгласных,
Тени сгубленных, убитых, обреченных
Вкруг теней бандитов непрощенных,
Тени воинов, закутанных в шинели,
Тени пьяниц, заполняющих панели,
Тени мучеников и поэтов мрачных,
Тени всех влюбленных неудачных,
Тени горькие — бездомные повесы,
Тени легкие — безумные принцессы.

Было что-то здесь, что потрясает нас:
Радость бытия и смелость без прикрас.

Будьте грустны и прекрасны! Доброй ночи,
Метеоров огненные очи!

Вы ночами знойными летели
Без теней, как раскаленные метели,
И сводили нас с ума своим накалом.
До свиданья, придорожные сигналы,
Вдаль манившие меня, как запах розы,
До свиданья, звезды, чистые, как слезы,
Открывавшие мне рощи и долины,
Где в садах цветут немые бальзамины,
До свиданья, крылья авионов
И крутые страсти Эдисонов,
Фейерверки, нефтеносные фонтаны,
До свиданья, стародавние обманы,
До свиданья, метеоры в небе чистом,
До свиданья, тени в отдаленье мгlistом,
Тени времени, которым нет возврата,
Тени сладкие, что снились мне когда-то,
Тень небес в глазах красавиц юных,
Тень теней созвездий в струях лунных,
Тени чувств, которым нет имен,
Тени зыбкие, как полуночный звон,
Тени бледные, как образы смертей,
Тень дыханья неродившихся детей,
Тени матерей, молящихся о сыне,
Тени призраков, живущих на чужбине,
Тени роскоши, что мучают вдову,
Тени призраков, ютящихся в дому.

Будьте строги и прекрасны! В добрый час!
Звездопады слез, и клятвы женских глаз,
И любовь в горах, где сотни звезд
Прямо в руки падают из гнезд!
До свиданья! До свиданья! Так и быть!
Снова буду я будильник заводить.
Сколько здесь людей живет вокруг,
Вот она, поэзия, мой друг!

Буду снова предаваться я мечтам,
Снова в «Славии» пить кофе по утрам,
Вновь глотать обычный завтрак свой,
Снова тосковать с поникшей головой,
И опять не спать, себя не страховать,
И опять сжигать, а не скрывать,
И опять прислушиваться к плачу
И играть в азарте наудачу.

Наши жизни словно дни и ночи.
До свиданья, звезды, птицы, губы, очи,
До свиданья, кладбища под Глогом.
До свиданья, с богом! До свиданья, с богом!
Доброй ночи! Доброго сна!
Доброй ночи!
Доброго дня!

1934 г.

Иржи Тауфер

род. 1911

ЛЮБЛЮ

(Отрывок)

Часто гляжу я в окна в сторону аэродрома.
Я дома. И все же —
Хочется снова быть дома.

Гляжу я на самолеты. Один сорвался со старта
И улетел к востоку.

А может, вернется завтра?

Часто я возвращаюсь
В глубь прошедших лет.
Там ведь моя страна. Мой свет,
Жизни моей след.

Никогда уже своими не назову так просто
Эту улицу, и коня, и мост,
Перекресток, лесочек сизый.

Я буду всего лишь гостем.
И будет у меня
Паспорт, печати, визы.

Ничего не останется, кроме воспоминаний,
Ничего не останется, кроме стиха,
А они —
Как семечек шелуха.

А сколько на этом крови потеряно!

Нет, все это не скрип заржавевшего пера.
Это сердце записывало дорогие вечера,
Все, что ею мною было вчера

Каждый на миг возвращается.
И мне дано возвращаться.
Но это не было годами эмиграции.

Я возвращаюсь часто
В глубины прошедших лет
Там мои реки, мой города, мой свет.
Жизни моей след.

Там моя Волга. Мой Дон. Моя Цимла. Моя степь.
Там мои следы. Мой пот. Мой голод. Мой хлеб.

Это был полет в даль грядущих лет.
Это моя Москва. Мой мир. Мой свет.
Это мой Куйбышев. Мой Пугачевск. Память моих
дней.

Это моя Москва.
Эта песня — ей.

* * *

Помню пятый этаж зеленого дома у Ржевского.
Ночное небо Москвы превращалось в солнечный
зонтик,
Дрожали длинные пальцы опаловых прожекторов.
В небе вспыхивали и увядали астры и хризантемы.

Эти букеты ракет пахли миром, как праздничный стол.
И пушки двадцатикратно прокатывали урра-а-а!

Но помню и гул бомбовозов над темной Москвой,
Помню Москву, укрытую мглой,
Москву тихую, как черная кошка с опасливым
взглядом,
Москву, зарешеченную снегопадом,
Москву, куда приходили пассажирские из Казани,
Трамвай продвигался сквозь снег, позвякивая,
как сани.

Трамвай! Он в мыслях моих не последняя мелочь,
Люблю трамвайный вагон! Там передают мелочь,
Покуда не встретятся пальцы, как клювики голубей,
Это привет. И дружба. Товарищество людей.
Это доверчивый взгляд. Дружеская прогулка.
Люблю семнадцатый номер до Троицкого переулка.
Люблю трамвайный вагон, в котором мне все знакомо.
Вижу из окна детей у детского дома,
Вижу Самарский и театр, где вечером гул толпы
И у старинных подъездов чугунные столбы.

Люблю домишки в Марьиной роще, похожие
на сторожки,
Здесь, говорят, когда-то гадали и пели цыганки,
И теперь еще вечерами поигрывают на гармошке.
Люблю Екатерининский парк у площади Коммуны.
Вижу его силуэт ночью, светлой и лунной,
Словно выгравированный иглой на фоне олова
хмурого.

Люблю маленький уголок Дурова,
Где ученые птицы, мышьяная железная дорога.
Люблю стадион «Буревестник». А дальше еще
немного —

Старая больница и бывшая анатомичка.
Люблю переулки и улочки, где звонких шагов
перекличка.

Люблю на Садовой ночь, на Мещанской утренний час,
Люблю рекламы кино, когда в окнах свет погас,
Люблю московский апрель, капель, глухой переулок,
Закоулки, похожие на музеи палехских шкатулок.
Люблю московский мороз, когда небо розово-чисто.
И не люблю места, уготованные для туриста, —
Памятники, монументы, дворец или пышный храм.
У меня есть местечки получше — не то что
музейный хлам.

Люблю кусочки Москвы, как арии или стихи,
Например витрину на Пушкинской, где выставлены
духи,

Люблю названия улиц, как детские скороговорки,
Прогулки по Староконюшенному, дворики и задворки,
Детский дом и в садике маленькие следы.

Люблю московское небо цвета вечерней воды,
Люблю Москву в крапинках весенней зелени,
Когда в ее глазах печаль и вместе веселье,
Люблю воскресную Сретенку и вкусный запах
из булочной,
Люблю будничный день — он памятный,
а не будничный,
Люблю московское лето и запах асфальта тяжелого,
Люблю лазурное небо и серое, словно олово.
Люблю московскую осень, всхлипывающую
непрестанно,
Москву, где разбрызганы краски о палитры Левитана,
Люблю стеклянную зиму, которая стужей светится,
Когда сияют огни, а на улице гололедица,
Люблю диадемы ламп на улице Горького,
на площади Пушкина,
Люблю дворницкий шланг в разгар полудня душного,
И белоснежных мороженщиц, и осколки
маленьких луж,
И водяные радуги, и смех, и случайный душ.
Люблю пешеходов, тесной толпой спешащих
под северным небом,
Люблю московские улицы, пахнущие
свежевыпеченным хлебом.
Люблю торжественный ампир и колонны белые,
как из воска.
Люблю трамвайную остановку в Безбожном,
против киоска.
Люблю один чугунный фонарь, он светит мне
так знакомо,
Люблю колоннаду одного старинного дома.
Люблю Москву. Ее крытые рынки, ее подъезды.

Люблю. Но только не Внуково — там сплошные
отъезды.
Люблю все три Мещанские, все улицы, ведущие
к Кремлю.

Почему? Просто так. Потому что люблю.

Возвращаюсь к Тверскому бульвару, где прежде
стоял памятник.

Слышу куранты Кремля. Время тихонько тает в них.
Вижу — месяц плывет над водосточными трубами.

Вижу дом, где знакомился с эренбургскими
трубками.

Люблю Рождественку, Пушкинскую, Столешников
переулок,

Люблю неровные улицы, где шаг, словно рифма, гулок,

Люблю историю улиц, окутанную пожарами,

Люблю толкотню и снег над белыми бульварами,

Люблю аромат папирос и запах одеколона,

Люблю один старый забор и покосившуюся колонну,

И объявления от руки, что стол продается там-то,

И Кировскую от Красных ворот до Почтамта.

Но одно название звучит для меня всех сладостей —
Милый мой, милый Капельский.

Люблю там дом ТАССа, ворота, окон веселый прищур,

Люблю Филипповский с запахом мокрых корректур.

Сколько раз я ходил туда — вспоминается и теперь,

Сколько раз я входил в стеклянную дверь.

Помню я метранпажа, наборщиков — как давно
миновали сроки,

Когда они отливали непонятные чешские строки,

Как жаловались на шрифт, на надстрочные знаки!

А внизу гудели ротации, как танки в атаке.
Люблю волны людей и реки машин,
Этих любящих и ненавидящих женщин и мужчин.
Да! Один любит, другой ненавидит, третий ропщет —
Но все они стремятся к радости общей,
Которая пахнет, как сказка, как свежий ласковый хлеб.
Моя была Волга. Мой был Дон. Моя Цимла. Моя степь.

Часто я возвращаюсь
В глубины прошедших лет.
Это моя Москва. Мой мир. Мой свет,
Жизни моей след.

Иржи Шотола

род. 1924

ДАРЫ ОТЦА СЫНУ

Волшебное стеклышко, через которое — только сдерживай
дых —
увидишь счастье, увидишь горе, лебединую стаю в стенах
седых.

Зеленую комнату, заселенную, где блещет стол полировкой,
где пахнет теплом, кофе, где пахнет винной пробкой.

Город прибрежный, пламя реторт и медного купороса,
город случайностей, степь жестяную, ось из резины, колеса,

тень самолета, сажу, птичьи скелеты во мраке,
свет фонарей, бешенство иллюзий в прокисшем лаке,

крови, пота и соли острые кристаллы,
запахи парфюмерии, два полюса, сигналы,

молнии звездопада, глаза очкового гада —
все это

я бы тебе
нарисовал на стене.

А дождь пойдет и картинки смоет.
Где же они? Чего они стоят?

И что я тебе отдам?
И что я имею сам?

Есть холодная комната,
запах известки, тмина,

ветер в волосах,
кирпичи
и глина.

Ободранные пальцы, пыль на башмаках,
горячая жизнь под небом в светящихся облаках —

и хоть бы кус хлеба с парой добрых слов,
и улица, и город
без запаха духов,

терпкая, горькая правда, разгаданная ложь,
смятая бумага, заржавевший нож,

ложка,
сковородка,
ботинки, одеяло —
все, что меня терзало,

все, что по мне останется, когда сойду во мрак, —
безумие, так мало —
совсем пустяк.

Несколько стихов, которых не прочтут,
статуя любви — ее потом почтут,

и это удивление, что я живу,
и странное явление фантазий наяву,

хоть был бы табак, хоть бы стол и гость,
хоть бы башмаки, грубой соли горсть,

хоть глоток воды, хоть бы блажь, всхлип,
лампочка, и стул, и ворот скрип,

но не эта ничтожная бесконечность, и не лебедь в клетке
зловещей,

а веселая людская надежда, и простые нужные вещи,
стеклышко стеклянное,

сквозь него не увидишь дня,

но по крайней мере
прости меня...

Из словацких поэтов

Ян Костра

род. 1910

ВЕТЛА

Ты — река моя тихая, ты —
Звонких волн колыбельное пенье,
Ты — ветла моя, с дрожью мечты
Осеняющая течение.

Кто рубцы сосчитает и раны?
Кто задумается и пригорюнится?
Осыпается берег, и заново
Из тревог возвращаешься к юности.

Ты, морщинистая и старая,
Добрим оком глядишь на течение,
Нескончаемое, предвесеннее,

Ты — подруга полночного бдения,
Где седеют виски от усилия пустого,
Где надежда рождает высокое слово.

Милан Лайчак

род. 1926

У ШИВЦА

Я знал харчевню у Шивца,
Немало попил там пивца.

На крыше дранка там гниет,
И ветер песенки поет.

Порог, истоптанный людьми.
Висит записка над дверьми:

«Борг помер. Борга провожали
Те, что на свадьбах здесь гуляли».

Распятие помню в кабачке
И черных мух на потолке.

А в половодье или в дождь
Сюда нескоро добредешь.

Перед крыльцом гогочет гусь.
Вот вам дворец! Входи, не трусь!

Мы тут студентами бывали,
Вино с подругами пивали.

И помню, как в конце недели
До самой зорьки здесь сидели.

Бушует память, как река,
И для нее тесна строка.

Я снова здесь, я у крыльца
Харчевни старой близ Шивца.

Не узнаю знакомых мест.
Нет мух, не виден черный крест —

Лишь светлый контур на стене
Напомнил мне о старине.

В большом котле кипит гуляш,
В харчевне шум и ералаш —

Проходчики со всей округи
Сюда сошлись на досуге.

Те, кто пробили твердь скалы,
Сюда собрались за столы,

Расселись рядом — с другом друг —
И хвалят мощь рабочих рук,

Перед которыми гранит —
И тот не долго устоит.

Я знал уже, что на неделе
В крутой скале сошлись тоннели.

Вошли девчата в кабачок,
И Пишта достает смычок,

И подозрительных мамаш
Приводит в раж бурильщик наш.

А кто-то лишнего хлебнул
И тут же песню затянул

Про девку скверную одну
Да про неверную жену...

Уж огонек едва мигал,
От пляски сотрясался зал,

Уж кто-то в уголке дремал,
А Пишта все играл, играл...

Вот так сидеть бы без конца
В харчевне старой у Шивца!

Из венгерских поэтов

Атилла Йожеф

1905—1937

ВСТАЕТ НА РАССВЕТЕ, КАК ПЕКАРИ

Моя милая — крепкая, стройная женщина.
Я однажды сидел в самолете, с высоты она кажется
крошечной,
но будь я пилотом, все равно бы ее уважал.
Сама стирает белье, на руках ее пена мечтательная,
как дрожащее облако;
на колени встает, словно молится, драит щеткою пол
и смеется, когда окончит работу.
И смех ее, словно спелое яблоко, которое она надкусила
прямо со шкуркой,
и яблоко тоже хохочет.

А когда она месит хлеба, просыпается рано, как пекари,
сородичи хлебных печей.
Их оружие — большие лопаты,
пыль мучная летит на крутые, свободные плечи
и потом засыпает на этих могучих плечах,
словно милая в теплой душистой постели после того,
как помыла посуду
и обняла мое сердце.
Жена моя будет такая же, когда вырасту, стану мужчиной
и женюсь, как отец.

ПЕСНЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Подбородки наши круглы,
шустры ноги, щеки смуглы, плечи белы.
Словно угли,
наши очи, рты, как вишни.

Плясовое пламя вздуем, жарим, парим,
пламенеют наши щеки, будут булки
крутобоки,
глянцевиты и румяны.

Даже ветер перед нами ходит фертном,
норовит он
нас пощупать, раздевает нас, охальник,
раздувает
наши юбки.

Убираем, натираем пол до лоска. Наши косы
заплетаем,
и колышется прическа, словно гребень
петушиный.

Рук движенье, колыханье наших бедер,
грудей в блузах трепетанье
так похожи на игру в росистых травах
целой дюжины
младенцев
толстопузых.

А когда мужья приходят, помогаем
им умыться, греем ужин,
и целуем,
и милуем, и играем, а случится — утешаем:
ведь мужчины словно дети.
И разглядываем долго, как животики круглятся
на рассвете.

ВИФЛЕЕМ

Сидят вороны в бязевом тумане,
за можжевельник спряталась заря.
На жесткий пол ложатся поселяне —
два пастыря, а с ними три царя.
Спускается хозяйка из чулана,
«Небесный ангел!» — пятеро поют.
Старик работник стойло чистит рьяно,
нахохлясь, куры квохчут и клюют.
Продрогшая картошка дремлет робко,
небритый сноп приткнулся в уголку.
Клокочет утешительно похлебка
и с песнею струится к потолку.
И сам Иисус под пологом бумажным
бумажную овечку теребит,
и смотрит, как смиренно и нестрашно,
танцуя, тень над яслями рябит.
Но это ложь. Играет ветер барский
батрацкою соломою в пыли.
Жрут пастухи, дымится край мадьярский,
и палинку * лакают короли.

* Венгерская фруктовая водка.

МЕРТВЫЙ КРАЙ

Над водою пар. Осока
перепуталась, усохла.
Высь залезла под перину,
с хрустом обняла долину
тишина.

Мгла жирна, одутловата,
степь легла ровнее плата,
только челн, шурша о льдинки,
плещется по серединке
озерца.

Сыплет лес обледенелый
время, словно иней белый.
Стужа зубы с хрустом скалит
и коня на мох пускает
попасться.

И соломой неопрятной
куст укутан виноградный.
Жерди в ряд стоят в подпорах,
словно посохи для хворых
стариков.

Хутор — ось. На ней округа
вертится. Седая вьюга
понемногу, постепенно
колукает когтем стены —
веселясь.

А в свинарнике раскрытом
дверь шатается со скрипом.
Вдруг заглянет поросенок
или поле вдруг спросонок
забредет.

Мужички в лачужке тесной
курят молча лист древесный.
Беднякам зачем молиться?
И сидят они, как птицы,
в темноте.

Лес хрустит для господина,
для него крепчает льдина,
для него лозу укрыли,
для него жиреют в иле
караси.

МЕДВЕЖИЙ ТАНЕЦ

Пляшет он лихой, косматый,
лапы круглые лопатой,
ох, топочет, пляшет он.
Ну-ка — барышне поклон.
Брума, брума, брумадза.

Ну, а в шубе сколько шика,
двадцатью когтями шита
из куницы, барсука,
из собаки и волка.
Брума, брума, брумадза.

Я ходил-бродил лугами
за зубами-жемчугами,
поясница широка,
как у маменек бока.
Брума, брума, брумадза.

Как я медлен, благороден,
для картинки прямо годен.
А на кисти маляру
с тетки волосы сдеру.
Брума, брума, брумадза.

Из большой кастрюли шибче
мне добро горстями сыпьте.
Нет кастрюли, нет
горстей —
сыпь когтями без затей.
Брума, брума, брумадза.

Как хорош в ладони смуглой
медячок — цветочек круглый.
Что ж, начальник, из
брюк
не вытаскиваешь рук?
Брума, брума, брумадза.

Здесь медведь задаром пляшет,
Не заплатят — не заплачет.
А замерзнет — он привык.
Нам доска что пуховик.
Брума, брума, брумадза.

ARS POETICA

Поэт я, но какое дело
мне до поэзии самой?
Нелепо, если б вдруг взлетела
в зенит звезда с реки ночной.

Пусть время тянется уныло,
забыл я сказок молоко, —
я пью глоток земного мира
с небесной пеной облаков.

Ручей прекрасен — лезь купаться!
Покой и трепетность твоя
обнимутся и растворятся
в разумном лепете ручья.

Поэты? Что мне все поэты?
Их пачкотню я не люблю.
Пусть вымышленные предметы
они рисуют во хмелю!

Дойду до разума и выше
сквозь будней грязную корчму!..
Плести слова лакейских виршей
негоже вольному уму.

Ешь, спи, целуйся, обнимайся!
Но с вечностью равняйся сам.
И не служи, не поддавайся
уродующим нас властям.

А если счастье компромиссно —
плати краснухою лица,
и лихорадкой ненавистной,
и панибратством подлеца.

Я рот не затыкаю в споре.
Ищу совета у наук.
И помнит обо мне на поле
крестьянин, опершись о плуг.

И чувствует меня рабочий
всем телом, что напряжено;
и ждет парнишка, озабочен,
возле вечернего кино.

Где подлых недругов ватаги
на стих мой лезут не добром,
там танки братские в атаки
идут под рифм победный гром.

Пусть человек не стал великим,
он неуемен и крылат!
Его родительские лики
любви и разума хранят.

Дьюла ИЙЕШ

род. 1902

ЧУЧУЛИГА

По Рыле едем через перевал.
Две тыщи метров, а потом — привал.
Ну что ж! Лужайка ждет, трава свежа.
Прилечь, пожалуй?.. Словно из ковша
Лились лучи. А небеса, как шелк,
И в них почти небесный щебет, шелк
И пересвист. Летело в синеву
Невидимое «А», и «И», и «У»...
Конечно — птица.

— Что там за певун? —

Спросил я. Спутница сказала:

— Une

Чучулига, — пытаюсь подыскать
Французское название. И опять,
Как бы в ответ на мой вопрос, вдали
Пролепетала птица «А» и «И»,
И снова «И», и «У», и «А»,
И «чи-чили-чили!» — Она сама
Представилась. Хотела научить,
Как звать ее и как это звучит.

А может, голос птицы означал
Не это. А название тех начал,
Которым слов людских не подобрать:
О том, что — лето, что легко летать,

Что — вот гора, а птица над горой
Летит все выше, выше, что порой
Ей надо петь — «чуличуча!», — крича
О вере «чи!» и о надежде «ча!»,
О том, что разъяснить — превыше сил.
... А впрочем, это жаворонок был.

ГОСТИ

Пишу. Вдруг запах рыбы от запруд
Вошел. И сразу — в сердце, в ноздри, в поры!
— Меня послали, — говорит, — озера.
— Ну как дела?
— Живу, как все живут.

Работа ждет на письменном столе.
Но не могу! Стучится гость незваный:
Грибами пахнет. Это сквозь окно
Вступает лес, растущий за поляной.

Потом вбегает тополь. Чуть живой,
Косноязычный, до смерти влюбленный.
Ликует поле. Это по меже
Везут навоз в телеге пароконной.

Потом — труба. Над нею дым лозой.
Мыча, идет соседская корова.
Потом — все кучевые облака
И все былинки луга заливного.

И так они по-братски говорят,
Что жить легко, и нужно, и несложно,
Что невозможно не поверить им.
И тут — слеза. Сдержаться невозможно.

РУКОЯТИ

Задумывается рука
Над смыслом рукоятей.
Блестит поверхность черенка
От всех рукопожатий.

Задумывается ладонь
Над каждой рукояткой —
Старинной, желтой, как латунь,
Удобною и хваткой.

И, как лоснящихся коней,
Я глажу их, усталых.
Что может быть ловчей, складней?
Но кто же воспитал их?

Что было с ними? Вот лежат,
Прокурены, как трубки.
Одни — к любому поспешат,
Другие — однолюбки.

Кто их характер шлифовал,
Помог сформироваться?
Я с ними бы потолковал
И мог бы столкнуться.

Как их движения умны,
Как дельны и толковы!
И приспособлены они
Для замысла людского.

Антал Гидаш

род. 1899

РОЖДЕНИЕ

Под моим пером лежит целинный,
свежевыпавший бумажный лист.
Я пишу слова, черчу картины,
одержимый — лишь бы удались!

Ничего на свете нет блаженней!
Травкой пробивается строка,
и рождает пестрое воображенье
песню — мокрого, дрожащего телка.

ЛЮБЛЮ, КОГДА ЛЕТО...

Люблю, когда лето в объятья
горячую землю берет,
от пламени их поцелуев
в листве зачинается плод.

Деревья вздыхают в потемках,
и ветер от неги чуть жив,
и стелются с шепотом ветки,
усталые листья смежив.

А осенью ветер ограбит,
истреплет, истопчет листву...
И будут деревья о лете,
о лете мечтать наяву.

Я ПОЛОВИНУ ХЛЕБА СЪЕЛ

Я половину хлеба съел,
и стал я тем, чем стать успел.
И над моею головой
не веет грозный рок.
Но об одном печаль моя:
из дел земного бытия
лишь половину сделал я
того, что сделать мог.

МНЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Поторопись, покуда свет
В окне не угасает.
Потом наступит вечер, мрак —
и лампа не спасает.

Открой ворота всем стихам,
что прежде в сердце прятал,
хоть тень останется того,
кто звался Гидаш Антал.

Дознаться: как и отчего
и где мы сплеховали,
как самых лучших среди нас
враги колесовали.

Потомкам надо сохранить
событья, даты, лица,
чтоб от ошибок уберечь...
Да, надо торопиться.

Мы думали: один рывок —
и одолеем горе.
А горе было как река,
а стало словно море.

И павших за собой нести
нам стало не по силам;
и бродим мы по полю ржи,
как бродят по могилам...

И, если снова ты начнешь
и кончится победой,
потомок, нас не позабудь,
о нас добро поведай!

НАВСТРЕЧУ

Остывает стих. Поэт ко сну отходит,
становясь мудрей.
Он устал. Не тронь его — не надо шума
у его дверей.

Завтра сам он рано встанет по тревоге —
«В наш последний бой!»
И стихи, не сбившиеся с шага, он подымет
боевой трубой.

А куда будет он стоять колонной,
думать и грустить,
чтоб золою всех развалин убеленным
в новый мир вступить.

Иштван Шимон

род. 1922

КУЗНЕЦ И БАШЕННЫЕ ЧАСЫ

Там, где скрещенье шумных улиц,
Жил старый мастер в кузне древней.
К нему хозяева тянулись
Чинить телеги из деревни.

Мехов раздувшееся брюхо
Рыгало воздухом на уголь,
Визжала сталь, звенела глухо,
И молот непрестанно ухал.

Напротив кузницы на башне
Часы старинные торчали
И с кузней заводили шашни,
Перечили и отвечали.

«Чин-чин» — звенела мастерская,
«Бим-бом» — в ответ часы,
И мастер, обод отпуская,
Покусывал усы.
«Чин-чин» —
Звенела наковальня,
«Бим-бом» — задорно и нахально
Ей вторили часы.

Так между ними велся самый
Жестокий спор, упорный, давний.

И мастер знал — тот, кто упрямей,
Тот наконец возобладает.

И он, поставив всё на карту,
Бил по железу и по стали.
И стал дырявым старый фартук,
И руки словно плети стали.

Уж не тянулись телеги.
Ковать коней не приезжали.
Он запер кузницу навеки,
Лишь петли глухо провизжали.

И замолчала мастерская,
«Чин-чин» не слышно в ней.
И песенка мирская
На целый звук бедней.

Порой приходит мастер бедный
И слышит: в небе голубом,
Все раздаётся звук победный —
Идут часы:
«Бим-бом, бим-бом!»

К О С Е Н И

Снова осень. Золотой трубой
Лето проиграло свой отбой.
Осень вводит пестрый легион —
Сбит орех, и облетает клен.

Туш сверчок играет: цик да цик.
Открывается осенний цирк.
Дряхлый день плывет за мною вслед.
То в багрец, то в золото одет.

И потом на всех полях вокруг
Пляшет дождик миллионом рук:
Акробат, рожденный в облаках,
В чистом поле пляшет на руках.

ЛЕТО, ТОПОЛЯ

На дорогах лета белое каленье,
С вечера оно упрело на покосах,
И поспело, и сварилось, как варенье,
Даше в дымном небе — запах абрикосов.
Воздух сладостен, и дерево сухое
Подошло к дороге, что, насквозь прогрета,
Развалилась, растянулась на покое.
Саламандрой сквозь огонь пролезло лето,
И уселось, и любитесь шафранной
Далью солнечной, и зыбкою и жидкой,
Что становится прозрачной и туманной,
Как нейлоновая женская накидка.
Поле, лето, тополя, разбег дорожек,
Города лежат на солнце, вечер близко.
Хнычет муха, трет головку парой ножек
И спешит свалиться в суповую миску.
Ветер кружится, летит куда попало,
В буксы смотрится, как в зеркальце ручное.

Отступает тополь, чует — лето спало,
Это август улыбнулся на покое.
Тут, конечно, не мешало бы сравненье,
Но не вышло, — как однажды с морем синим:
Я хотел его обнять воображеньем,
Только синь его казалась мне бессильным
Васильком... Передо мною даль и лето,
Тополя, река и облачная пена.
Впрочем, каждый человек, увидев это,
Прозревает, замечая постепенно
Паутинку на полях, в висках сединку,
И стихи, и лето, прянувшее в осень...
Вот и лето спать уходит под сурдинку,
Словно старый дворник с бляхой — пять и восемь.

ЦВЕТЫ АКАЦИИ

Цветут, цветут акаций белых гроздь,
Охапками они друг к другу льнут.
Подумаешь, что снег иль иней поздний
Нападали на зелень там и тут.

И гроздь висит, как маленькое вымя,
И вечер доит терпкий аромат.
Дорога со столбами верстовыми
И кузница белы, как в снегопад.

Взволнованный полет летучей мыши,
И лунный свет, и темная вода.
И ранним летом, средь тишайшей тиши,
Стоят деревья кротко, как стада.

И медленно жвачкой в лунном свете
Накатывается за валом вал —
Мильоны сладких маленьких соцветий,
Которые ребенком я сосал.

Нурдаль Григ

1902—1944

ЛАЙ

Кто-то украл тебя в Рио,
На борт в бушлате принес,
Тебя окрестили Лаем,
Ты стал корабельный пес.

И ты привязался к судну,
Ты предан и верен нам,
Ты голос шкипера знаешь
И сам, как шкипер, упрям.

Ты стал нашим лучшим другом,
Мы службу несем одну,
Ты мчишься вдоль рей, кусаешь
Грозящую нам волну.

Одна ты у нас отрада
В лишениях, в суровой борьбе,
И кажется наша ругань
Сердечной лаской тебе.

Ведь все, о чем тайно мечтает
В морях одинокий матрос,
Он высказать может только
Тебе, корабельный пес.

УТРО В ФИНМАРКЕ

Когда мы пришли в Бескадес,
Окончив свой путь ночной,
Вдруг разразился ливень,
Колючий и ледяной.
Мы, обессилив от шторма,
Отдых решили найти.
Наши олени устали
После большого пути.

Белые пятна на лицах —
След ледяных дорог —
С каждым порывом ветра
Мучили, как ожог,
Руки заоченели,
Ноги идти не могли.
Но вдруг встрепенулось сердце,
Когда я увидел вдали —

На голой покато́й вершине —
Легкий и чуткий, как тень,
Наледь дробил копытом,
Нюхая воздух, олень.
Скреб он промерзшую землю,
И у него из-под ног,
Точно лучи, пробивался
Светло-зеленый мох.

Шторм, прилетевший в Бескадес!
Вот она, наша страна!
Мерзну́щая и ледяная —

Все же прекрасна она!
Так на смертельном морозе
Заколевшая мать
К сердцу дитя прижимает,
Чтобы тепло ему дать!

Сердце мое! Через горы
Мчались олени твои.
К радости сердце стремилось
От бесполезной любви.
Сердце, ты где припадало
Как олененок к сосцам?
Где твое право на эту
Землю, врученную нам?

Родина, ты предо мною —
Море бушует в ветрах,
Снасть рыболовная в бухте,
Бедный поселок в горах.
Бедность и труд неустанный,
В вечной борьбе бытие.
С чем ты явился в Бескадес?
Вымолви, что здесь твое?

Я ничего тебе не дал.
Требуй, я выдам сполна!
Всю мою юность и силу
Требуй на подвиг, страна.
Дай мне любить тебя право!
Счастье твое воспою,
Телом от стужи прикрою
Голую землю твою!

Ингер Хагеруп

род. 1905

УТРО

Милый друг, я нынче чуть пьяна.
От вина, от счастья чуть хмельная.
Все мне ново. Потолок, стена
Для меня — кулиса расписная.

Все мне ново, странно, как рассказ
Или вновь увиденная пьеса.
Мы ее играли много раз —
Нехотя порой, без интереса.

Милый друг, блуждает мой язык
По словам дремучим и тернистым.
Одного желаю в этот миг —
Близ тебя безмолвным быть статистом.

Сутки жить, испытывая дрожь,
Ждать, покуда не поблекнут краски.
Это все и истина и ложь,
Ибо пьеса близится к развязке.

Из африканских поэтов

Леопольд Седар Сенгор

род. 1906

ЧАКА *

Драматическая поэма для нескольких голосов

Погибшим банту
Южной Африки.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

На фоне глухих звуков траурного тамтама

Белый голос

Здесь ты, Чака, подобный пантере, подобный зловредной
гиене,

Здесь, на земле распятый тремя ассагаями, ты, завещанный
небытию.

Вот хождение твое по страстям. Пусть кровавые реки, что тебя
омывали, послужат возмездьем тебе.

Чака (*лицо его спокойно*)

Да, я здесь, и два брата со мной, два предателя, два
проходимца,

* Чака — вождь зулусских племен конца XIX века.

Два глупца. Ха! Я здесь, но я не гиена, я Лев Эфиопии
с поднятою головой.
Я вернулся сюда! Я в стране лучезарного детства!
Здесь должно завершиться хождение мое.

Белый голос

Чака, зябко дрожишь ты в пределах крайнего Юга, а гневное
солнце хохочет в зените.
Для тебя — о черная тень среди белого дня — замолкли
гобои воркующих горлиц.
Один лишь мой голос, как светлый клинок, пронзает твоих
семь сердец.

Чака

Белый голос, голос заморских краев! Огонь очей моих изнутри
освещает алмазную ночь.
Мне не нужно лживого дня. Грудь моя, словно щит,
принимает удары упреков.
Предрассветные росы на кустах тамаринда предвещают
явление светила на прозрачных моих небесах.
Чутко слушаю гортанное воркованье Ноливы и содрогаюсь
до мозга костей!

Белый голос

Ха-ха-ха! Чака, смеешь ли ты говорить о Ноливе, о твоей
нежно-прекрасной невесте,
Чье сердце как масло, чьи глаза — лепестки остролистных
кувшинок, чья речь — воркованье ручья?
Ты убил ее, нежно-прекрасную, и с нею убил свою совесть.

Чака

Э! зачем говоришь ты про совесть!..
Да, ее я убил, когда она пребывала в лазурном
краю сновидений.
Да, убил бестрепетной дланью.
Только вспыхнула узкая сталь в благоуханных зарослях
подплечья.

Белый голос

Ага! ты признался, о Чака! Так признайся тогда в истребление
миллионов мужей, в смерти тысяч молочных младенцев
и беременных жен.
Ты, великий кормилец гиен и стервятников, песнопевец
Загробных долин.
Там, где ждали воителя, объявился мясник.
И овраги разбухли от крови, и сочатся источники кровью,
Одичалые псы воют в мертвых долинах, и в поднебесье кружат
коршуны смерти.
О Чака, зулус, ты страшней, чем чума или жадный пожар
сухолесья.

Чака

Слушай ты, гогочущий птичник, ты, голодная стая просянок!
Слушай о сотне блестящих полков, в шелковистых мохнатых
зачесах, лоснящихся маслом, подобно надраенной меди.
Я секиру занес в этом мертвом лесу, я поджег одичалые
заросли,
словно мудрый хозяин. Этот пепел удобрил осеннюю вспашку
земли.

Белый голос

Как? Ни слова раскаянья...

Чака

Сожалуют о зле.

Белый голос

Величайшее зло — похитить сладость дыханья.

Чака

Величайшее зло — это слабость людского нутра.

Белый голос

Слабость сердца простибельна...

Чака

Слабость сердца священна...

А! Ты думаешь, я ее не любил,
золотистую деву, легче перышка, благоуханней бальзама,
с кожей нежной, как мех гладкой выдры, и прохладной, как
снега Килиманджаро.

Грудь — поле созревшего риса, холмы благовонных акаций
под ветром Восточным,

Нолива, чьи руки, как гибкие змеи, и губы, как малые змейки,
Нолива, чьи очи — созвездья, которым не надо луны и не
надо тамтама? —

во мне ее голос и пульс лихорадочной ночи!..

А! Ты думаешь, я не любил!

Да! Но эти бессчетные годы, это колесование на дыбе годов,
и ошейник, который душил мою волю,

эта злая бессонная ночь... На коне я спешил от Замбези,
я скакал и выл на звезды, терзаем неведомой болью,
словно леопард мне впился зубами в загривок.

Я б ее не убил, если б меньше любил...
Нужно было отбросить сомненья,
забыть опьяненье от сладкого млека пылающих уст, от
безумных тамтамов, от ночного биения крови,
от нутра, где кипит раскаленная лава,
от страсти к Ноливе —
во имя моего черного Народа.

Белый голос

Слушай, Чака, ты просто поэт... или ты краснобай... или даже
политик!

Чака

Два гонца доложили мне:
«Они высадились на берегу, взяв отвесы, компасы, секстанты.
Белокожие и светлоглазые, слишком грубая речь, слишком
тонкие губы,
гром они привезли на своих кораблях!
И тогда я забыл колебанья, я стоял — ни палач, ни солдат —
да, политик, как ты говоришь — а поэта убил я в себе, —
я стоял человеком, готовым на подвиг.
Да, я был человеком и уже обречен был на смерть, прежде
всех, прежде тех, о ком ты сожалешь.
Кто познает великие страсти мои?

Белый голос

Ты в полном уме и в памяти.
Так вслушайся, Чака, и вспомни!

Г о л о с з н а х а р я И с а н у с с и (*в отдаленье*)

Думай, Чака, я тебя не хочу принуждать: я всего только
знахарь, я только подручный.
Власть не дается без жертвы, настоящая власть — она требует
крови тех, что дороги нам.

Г о л о с (*похожий на голос Чаки, в отдаленье*)

Нужно все принять и решиться на смерть...
Завтра кровь оросит твои зелья,
как молоко орошает кускус*.
Прочь с глаз моих, знахарь! Каждый смертник имеет право
на минуту забвенья!

Ч а к а (*очнулся*)

Нет, нет, Белый голос, ты знаешь прекрасно...

Б е л ы й г о л о с

Что цель твоя — власть...

Ч а к а

Только средство...

Б е л ы й г о л о с

Упоенье!

* Национальное кушанье зулусов.

Ч а к а

Мой скорбный путь.

Я увидел мой край, на четыре стороны света, под властью
компаса, секстанта, отвеса,
где загублены рощи, сглажены горы, где в железо закованы
реки и доли.

Я увидел свой край на четыре стороны света, весь в
сплетенье стальных двухколейных путей,
я увидел народы крайнего Юга муравейником копошащимся
в молчаливом труде.

Труд священный уже не высокое действо —
ни тамтам, ни ритмичное пенье, ни танец на празднествах
весен и осеней.

Люди дальнего юга — на верфи, в порту, в мастерской
и на шахте.

А ночами упрятаны в тесный крааль нищеты.

Люди Юга воздвигли огромные горы из черного золота, из
красного золота — а сами они голодают.

И я зрю по утрам, возникающим в дыме зари, лес мохнатых
голов, и молящие очи, и запавшие животы, и
бесчисленные уста, призывающие непостижимого бога

Мог ли я оставаться глухим к их страданиям и к их
униженьям?

Б е л ы й г о л о с

Голос твой раскалился от ненависти...

Ч а к а

Ненавижу только угнетенье...

Белый голос

Раскалился от ненависти, превращающей в пепел сердца.
Слабость сердца священна, умерь свои буйные вихри!

Чака

Любить свой народ — не значит ненавидеть других.
Нет, не может быть мира, когда наготове оружие, и не может
быть мира под гнетом,
и не может быть братства без равенства. Я ж хотел, чтобы
все были братья.

Белый голос

Юг ты поднял на Белых...

Чака

Ах! Вот ты о чем, Белый голос, голос хитрости, голос
пристрастья,
голос силы, восставшей на слабость, голос заморской корысти.
Разве я ненавидел Розовоухих? Мы их приняли, словно
посланцев богов,
словом ласки, и яством, и сладким питьем.
Им хотелось товаров — мы дали им все: и бивни медового
цвета, и кожи, пестрее, чем радуги,
драгоценные пряности, дивные камни, обезьян, попугаев —
что надо еще?
Что сказать об их жалких дарах, о пустых побрякушках?
Только громом их пушек был разбужен мой разум,
И стало страданье нашим уделом — страданье духа и плоти.

Белый голос

Смирненные души страдают во имя спасенья...

Чака

Я страдал...

Белый голос

Сокрушенной душой...

Чака

Во имя любви к моим черным народам.

Белый голос

Во имя Ноливы и тех, что погибли в Смертной долине?

Чака

Во имя возлюбленной. К чему повторять то, что сказано!
Каждая смерть убивала меня. Надо было готовить грядущую
жатву.

Тесать жернова для помола, для белой муки, добываемой
черною мукой.

Белый голос

Да простится тому, кто много скорбел и страдал...

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Тамтамы любви, стремительно

Чака

(Мгновение глаза его закрыты; он поднимает веки и устремляет долгий взор к Востоку, лицо его строго и вдохновенно.)

Вот и Ночь! эта нежно-прекрасная Ночь с золотой лучистой луной.

Слышу утреннее воркованье Ноливы, оно катится, словно спелый плод по душистой траве.

Хор

Он нас покидает! О, как его кожа черна!

Это час одиночества.

Восхвалим Зулуса, пускай укрепит его звук песнопений.

Байте Баба! Байте о Зулу*!

Корифей

Он весь излучает сиянье! Вот минута перевоплощения!
Песнь созрела в садах лучезарного детства, настал час любви.

Чака

О возлюбленная, я так долго томился по этому часу.
Так долго стремился и ждал нескончаемой ночи любви и так бесконечно страдал.
Как труженик в полдень, обнимаю прохладную землю.

* Приветственный клич в честь вождя.

К о р и ф е й

Вот время ожившей любви, пришедшее в миг расставанья.
Здесь Чака один! Он полон страстей и желаний,
и счастье теснит его грудь, наподобье тоски.

Хор

Байте Баба! Байте о Байте!

Ч а к а

Я не песнь, не стремительный голос тамтама,
я еще и не ритм. Я стою неподвижен, как изваянье Бауле,
я еще и не песнь, что пробилась из звучных глубин,
я не тот, что творит эту. песнь, я лишь тот, кто ей помогает.
Я не мать, я отец, я баюкаю, и ласкаю, и держу на руках,
и тихие речи твержу.

К о р и ф е й

О Чака, зулус! Ты больше не пламенный Лев, чей взор
пепелил отдаленные села.

Хор

Байте Баба! Байте о Байте!

К о р и ф е й

Ты больше не Слон, что топчет посеvy патата, сокрушая
гордые пальмы.

Хор

Байте Баба! Байте о Байте!

Корифей

Ты больше не Буйвол, что яростней Льва и Слона,
не Буйвол, ломавший щиты храбрецов.
Твоим ли устам твердить слова примиренья?

Хор

Байте Баба! Байте о Байте!

Чака

О возлюбленная, я так долго томился по этому часу,
так долго блуждал по степям моей юности.
И пребывал в убежище мудрых,
а другим доставались звучные флейты и сладость прозрачного
меда.

Хор

О Зулус! Ты, прошедший суровый обряд посвящения,
ты, украшенный воинской татуировкой.

Чака

Я долго вещал в бесплодной пустыне,
я долго сражался в смертельном моем одиночестве,
я боролся с призваньем. Таков был мой искуc, и таков
очистительный подвиг поэта.

К о р и ф е й

О зулус, ты вырастил сильными нас, ты — источник, который
снабдил нас живою водой,
ты С-Рожденья-Отмеченный-Мощью, возложивший на черные
плечи свои судьбу чернокожих народов.

Х о р

Байете Баба! Байете о Зулу!

К о р и ф е й

Ты — воитель. Ниспадают завесы, и отважные воины смотрят,
как ты умираешь,
и от этого горького хмеля трепещут тела.

Х о р

Байете Баба! Байете о Зулу!

К о р и ф е й

Ты — гибкий танцор, порождающий звуки тамтама
соразмерным движением тела и рук.

Х о р

Байете Баба! Байете о Зулу!

К о р и ф е й

Я пою твою мощь, детородную щедрую силу.
О, возлюбленный Ночи, чьи длинные волосы, словно падучие
звезды, творец животворного слова,
песнопевец страны лучезарного детства.

Х о р

Пусть Правитель умрет и останется только Певец!

Ч а к а

Пусть ритмы тамтама наполнят биением часы. Воспой эту
Ночь и Ноливу.
Ты же, Хор, стань ночным караулом, стань бессонною стражей
нашей любви.

К о р и ф е й

И вот мы стоим у врат этой Ночи, вдыхая старинные сказки,
вкушая плоды и орехи.
Нет, мы не сомкнем наших глаз, мы бодрствуем в ожидании
Добрых Вестей.

Х о р

Нолива умрет, покинет смертный свой облик.
И заря принесет нам Добрые Вести.

Ч а к а

О Ночь! О Нолива!
Великая слабость умирает в твоих благовонных руках,
облегчающих горе.

И палящим дыханием пальмы наполнена грудь,
в этот миг аромат укрепляет усталые мышцы,
фимиамы у брачного ложа одаряют всевиденьем сердце.
О моя золотистая Ночь! Ты, сияющая на окрестных холмах!
Словно влажные ветры веют над рубиновым ложем, над
тобой, моя Черная, — в каплях алмазного пота,
с черной лоснящейся кожей, с телом, прозрачным, как в
первое утро творенья.
И когда мы встаем, обнаженные, друг перед другом
и стоим, потрясенные и ослепленные перед взором
любви, —
умирает сжимавшая горло тоска.
О душа, обнаженная до корней, до первородного камня!
Да, тоска умирает в твоих благоуханных руках.

Хор

Байете Баба! Байете о Зулу!

Чака

Звучи, отдаленный тамтам! Вбирай в себя голос ночи и
дальних селений,
звучи над холмами и рощами, над болотистой поймой реки.
Я лишь Тот-Кто-Способствует Звуку,
резная ударная палочка,
ладья, рассекающая волны, рука, засевающая небо, стопа,
попирающая чрево земли,
колотушка, обрученная со звонким деревом. Я лишь ударная
палочка, бьющая по тамтаму.
Кто говорит, что мелодия однообразна? Однообразна радость,
однообразно прекрасное,

и предвечное небо без тучек, и безмолвные синие чаши, и
голос, одинокий и строгий.

Продлись, великая звучная битва, это стройное состязанье,
где пот подобен жемчужным каплям росы!

О нет, я погибну от ожидания...

Меня задушит восторгом золотистая ночь — о Черная Ночь,
о Нолива!

И звуки тамтамов, в которых родится солнце нового мира.

Ч а к а медленно опускается на землю: он мертв.

К о р и ф е й

Светлый рассвет, новые зори, да спадет пелена с глаз
моего народа.

Х о р

Байте Баба! Байте о Байте!

К о р и ф е й

Росы, прохладные росы, пробуждают подземные корни народа.

Х о р

Байте Баба! Байте о Байте!

К о р и ф е й

И там — высокое солнце в зените светит всем народам земли

Х о р

Байте Баба! Байте о Байте!

Х о р повторяет этот припев, медленно удаляясь за занавес

ИЗ „НОВОГО ЛЕЙПЦИГСКОГО ЦИКЛА“

* * *

Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль,
как проснуться от жажды рано
и пить воду прямо из крана,
как с волнением, радостью и ожиданием
раскрывать посылку неизвестно откуда, неизвестно с чем,
как впервые лететь в самолете над просторами океана,
как в Стамбуле в сумерки ощущать в себе странную тревогу.
Я люблю тебя, как слова: «Жив еще, слава богу!»

* * *

Шоссе опускается, навстречу ему — огоньки,
быки
погружены в грузовики,
их головы раскачиваются медленно и спокойно.
Шоссе опускается, навстречу ему — огоньки.
Быки
погружены в грузовики,
черные, бурые, рыжие, пестрые.
И не знают быки,
что на бойне их ждут мясники.
Шоссе опускается, навстречу ему — огоньки,
быков на бойню везут грузовики,
и головы раскачиваются медленно и спокойно.

* * *

Песни людские прекрасней, чем люди,
надежней, чем люди,
печальней, чем люди,
прочнее, чем люди,
и песни любил я больше людей.

* * *

Я мог бы жить в одиночестве —
прожить без песен не мог,
я изменял любимой,
по был ее песням верен,
и песни мне не изменяли,
я их понимал на любом языке.
В этом мире
из всей жратвы и питья,
из всех путешествий
и происшествий,
из всего, чему я внимал,
из всего, что я понимал,
обнималитрогал, —
ничто, ничто не делало меня
счастливей, чем песни.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие П. Антокольского	5
--	---

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Юлиан Тувим

Нету края	9
Рассвет	10
Птица	10
Строфы о позднем лете	11
Зима	13
Первое мая	15
Работа	16
Одиссей	17
Бал в опере (отрывки)	19

Константы-Ильдефонс Галчинский

Праздничная ночь Иоганна-Себастьяна Баха . . .	29
Из «Встречи с матерью»	31

Бруно Ясенский

Слово о Якубе Шеле (из поэмы)	33
---	----

Владислав Броневский

Прилив	51
В конце мая	53
Освенцимские рассказы	54

Мечислав Яструн

Забор	55
Сказка	56
Яблоки	57

Тадеуш Ружевиц

Дерево	58
Белое перо	59

ИЗ ЧЕШСКИХ ПОЭТОВ

Иржи Волькер

Побудка	62
Барышня Кантарел	63
Ярмарка	65
Зимний день	66
Не ходи за мной	67
В кабачке «У короля Брабанта»	67

Иозеф Гора

Пулково	69
-------------------	----

Витезслав Незвал

Когда состаришься	70
Дорога	71
Черный дрозд	72
Вздых	73

Бродячие музыканты	73
Эдисон (из поэмы)	74
Иржи Тауфер	
Люблю (отрывок)	83
Иржи Шотола	
Дары отца сыну	90
<i>ИЗ СЛОВАЦКИХ ПОЭТОВ</i>	
Ян Костра	
Ветла	93
Милан Лайчак	
У Шивца	94
<i>ИЗ ВЕНГЕРСКИХ ПОЭТОВ</i>	
Атилла Йожеф	
Встает на рассвете, как пекари	9
Песня молодых женщин	98
Вифлеем	99
Мертвый край	100
Медвежий танец	102
Агс roetica	103
Дьюла Ийеш	
Чучулига	106
Гости	107
Рукояти	108
Антал Гидаш	
Рождение	110
Люблю, когда лето...	110

Я половину хлеба съел	111
Мне тридцать лет	111
Навстречу	112

Иштван Шимон

Кузнец и башенные часы	113
К осени	114
Лето, тополя	115
Цветы акации	116

ИЗ СКАНДИНАВСКИХ ПОЭТОВ

Нурдаль Григ

Лай	118
Утро в Финмарке	119

Ингер Хагеруп

Утро	121
----------------	-----

ИЗ АФРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Леопольд Седар Сенгор

Чака. (Драматическая поэма для нескольких голосов.)	122
---	-----

ИЗ ТУРЕЦКИХ ПОЭТОВ

Назым Хикмет

Великан с голубыми глазами	138
Растет во мне дерево...	139
Из «Нового лейпцигского цикла»	140
Песни людские...	143

ПОЭТЫ-СОВРЕМЕННОКИ

Редактор *Б. В. ШУПЛЕЦОВ*

Художник *А. В. Шипов*

Художественный редактор *В. Я. Быкова*

Технический редактор *Н. А. Пювлева*

Корректор *Н. Р. Пиковская*

Сдано в производство 30/III—1963 г. Подписано к печати 16/V—1963 г.

Бумага 70X108¹/₃₂. = 2,3 бум. л. 6,3 печ. л. 4,8 уч.-изд. л.

Изд. № 12/1953. Цена 26 коп. Заказ 338.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, 1-й Рижский пер., 2

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28

ТУВИМ • ГАЛЧИНСКИЙ

ЯСЕНСКИЙ • БРОНЕВСКИЙ

ЯСТРУН • РУЖЕВИЧ

ВОЛЬКЕР • ГОРА • НЕЗВАЛ

ТАУФЕР • ШОТОЛА • КОСТРА

ЛАЙЧАК • ЙОЖЕФ • ИЙЕШ

ГИДАШ • ШИМОН • ГРИГ

ХАГЕРУП • СЕНГОР • ХИКМЕТ